



Любимые

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

МЁД
ЖИЗНИ

Лидия Андреевна Сычева
Мёд жизни
Серия «Любимые»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51707246
Мёд жизни. Рассказы: Вече; Москва; 2019
ISBN 978-5-4484-8194-9

Аннотация

«Мёд жизни» – новая книга Лидии Сычёвой, чья проза отмечена Большой литературной премией Союза писателей России, Международной премией «Югра», Международной премией им. А. Дельвига и другими наградами. Читателя ждёт встреча с ярким, образным языком, а также самобытными героями и сюжетами, рождёнными временем и судьбой. «Мёд жизни» – книга, которую вы будете перечитывать.

Содержание

Твой день	4
Марш коммунаров	51
В гостях у «золотого миллиарда»	68
Путь стрелы	77
Ещё и не жил	86
В дождь	91
«Камасутра» по-русски	98
Интересное предложение	111
Белый цвет	120
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Лидия Андреевна Сычёва

Мёд жизни

Рассказы

Твой день

...Мальчик-врач цеплялся за неё – может, ему просто было скучно этой ночью, может, он ещё не привык к благоговейному вниманию родственников, а может, он поддался силе её мольбы; она наплакалась, глаза её набухли, лихорадочно горели.

Мальчик всё говорил и говорил, серьёзно, внушительно, она половину не понимала, потому что выпила много валерьянки, отупела и отяжелела от неё, она, когда выходила из дома, бросила в сумку молитвослов, валерьянку и планшетник.

Мальчик был высокий, хорошо сложенный, в голубой врачебной робе и синей шапочке, в белых докторских бахилах с завязочками, у него были большие умные глаза, карие, внимательные, у него были длинные руки с длинными чистыми пальцами (руки он скрестил на груди), у него был чёткий, с хорошей дикцией, голос. Было два часа ночи, но мальчик – дежурный врач – был свеж, полон сил и здоровья. Она смот-

рела в его глаза, она кивала его словам, а сама почему-то вспоминала, как ехала сюда на метро и, чтобы отвлечься, читала с планшета материал к работе.

Потом она вышла на улицу, спустилась с метромоста, бежала к пазику-маршрутке, водители были кавказцы. Потом они ехали по Можайскому шоссе, тут всегда были пробки, потому что на разделительной полосе что-то строили, ночью тут горели огни, а днём забивали сваи; днём сияло солнце, из ТЭЦ белыми клубами поднимался дым, и звонко ухали металлические механизмы, разнося по округе тяжелый, нутряной звук прессуемой земли.

Она увидела его в приёмном отделении, в самом конце длинного тусклого коридора, в одиночестве сидящим на банкетке, и в первые секунды не узнала его – лицо было кирпичного цвета, состарившееся, с чуть изменёнными чертами (в них читалось что-то безумное), и в ответ на это безумие (она уже узнала его, но как бы «отказалась» от него в эти секунды) в ней шевельнулось инстинктивное отвержение, она, видевшая его только в ореоле торжества, силы и красоты, не желала признавать в нём того, кого любила.

Но он уже узнал её, и сквозь черты, искаженные безумием, вдруг проступила изумлённо-жалкая улыбка, как будто ему, обречённому, находящемуся по ту сторону жизни, вдруг блеснула надежда на спасение.

(«Какие друзья? – скажет он ей потом. – Все последние

годы, всё своё свободное время я только с тобой; друзья все отпали, они перестали звонить, чего звонить, если я не с ними?»)

Он не любил мобильный, выключал его – «он мешает мне думать, я словно на привязи, когда телефон включен, в любой момент меня могут дёрнуть».

Впервые за всё время их знакомства она увидела его полностью разоружённым и обессиленным, и она горько заплакала.

Она не то чтобы поняла или почувствовала, она увидела, что он – на краю смерти, у пропасти, и она не знала, как его спасти. Она плакала, а он, он пытался её утешать!.. По правде говоря, у него не было на это сил, и, понимая это, она пыталась сдерживаться. Она стала кидаться к врачам, звала их к какой-то работе, побуждала, просила; они были как сонные мухи, как механизмы, как автоматы, и ей никак не удавалось их растормошить.

Позже, в другие дни, когда она вечерами выходила из больницы через приёмное отделение (центральный вход уже был закрыт), она ни разу не видела такого горя и такого отчаяния, как тогда у неё; всё шло деловито, своим чередом, привозили молодежь с травмами, стариков и старух в окружении родственников, да, было беспокойство, участие, переживание, но была и молчаливая покорность, готовность к любому развитию событий. А может, они, эти сдержанные люди, так верили в исцеление?

– Что с ним?

– Ну, пытаемся понять... ОРЗ, наверное... Температура...

Терапевт на приёме была ласковая, миловидная, но совершенно бестолковая.

– Я, конечно, не врач, не могу вам советовать, но он на адскую головную боль жалуется...

Терапевт, видя её рыдания, вздохнула и снизошла – назначила компьютерную томографию мозга.

Она сама, вместе с женщиной-санитаркой, завезла его на каталке к аппарату-капсуле, сняла ботинки, уложила на холодное клеенчатое ложе. Черты лица его заострились, отяжелели. Смерть была рядом. Она уже распахнула свои холодные чертоги, манящую бездну, путь в пустоту, туда, где не будет страданий, отчаяния, жизненной мелкоты.

Исследование затянулось, она попыталась подсмотреть в щелочку.

– Закройте дверь! – рявкнула врач при капсуле. – Ждите результат на каталке! Не поднимать голову! – это Ване.

«Во! Он два часа у вас в приемном покое просидел, никто ничего не делал, а теперь, оказывается, и вставать нельзя!»

Наконец каталку вывезли из кабинета.

Она держала его пальто в руках, пакет с обувью. Слезы всё текли и текли у неё по лицу.

– Не плачь... – Видно было, как тяжело ему говорить.

– Это так... Не обращай внимания... Нервы просто...

Уже был вечер, за окнами темно. Шла рутинная работа – писались бумаги, вызывались в кабинеты пациенты, бестолково толклись родственники.

– Скорей бы лечь...

– Потерпи... Ты ведь лежишь на каталке, всё лучше, чем сидеть.

Пришла женщина-санитарка – высокая, с крашеными в шоколадный цвет волосами, с вишнёвой помадой на губах, с подведёнными чёрным глазами. Ухоженная, внимательная. Махнула рукой:

– Вези сюда.

Она неумело, торопясь, закатила каталку в узкую комнату.

Санитарка наклонилась и громко спросила:

– Вы доверяете этой женщине свои вещи?

– Что?

– Вещи, говорю, ей доверяете? Она вам кто? Вещи либо она заберёт, либо в подвал сдадим.

– Я заберу, заберу, – засуетилась Женя.

– Снимаем всё. Рубашку, брюки, носки (снимите ему носки), часы, трусы.

– Да трусы же зачем? – Он стал слабо сопротивляться.

– Затем, так положено.

– А куда, куда его?

– В палату, – неласково отвечала санитарка.

«В палату? – Она плохо соображала. – Но зачем всё сни-

мают, если в палату?»

– Вы сейчас с нами пойдёте, а вещи соберите. У вас есть пакет?

– Нету.

– Я вам дам. – Видя её отчаяние, санитарка смилостивилась, вынесла ей огромный чёрный чехол – для трупов.

– А что с ним?

– У врача спросите.

Она побежала к ласковой, миловидной терапевтке.

– Извините, я по поводу Рязанцева... Что с ним?

Терапевт смотрела в бумаги. Ответила сухо, совсем нелюбезно, без всякой ласковости:

– Инсульт.

– Инсульт? – Она охнула.

– Да, обширный инсульт, – зло добавила терапевт и отвернулась.

«Она его похоронила», – мелькнуло у Жени.

Санитарка везла его к лифту на каталке, он весь был в кипенно-белой простыне, как в облаке, как на небе.

Неужели Бог заинтересован в том, чтобы мы страдали, умирали, мучились?

«Почему мне так хорошо с тобой?» – много раз спрашивала она его.

«Потому что за нами стоит красота».

Лифт. Очень раздумчивый, с западающими кнопками.

Бесполезно его торопить, жать на «заккрытие дверей» – он живёт своим ритмом. Больше четырех человек не берёт, независимо от комплекции.

– Не трогайте его, он сам знает, когда ехать, – мудро посоветовала Жене медсестра, когда она стала нервно жать на кнопки.

Через день Женя, уже сама в белом халате, советовала новичкам-посетителям как завсегдатай: «Не трогайте, он знает, когда ехать».

Лифт, как путь в рай или в ад. Как переправа через Лету. Лифт, как обновлённый чёлн Харона. Седьмой этаж, дальше только небо.

Бело-голубая вывеска «Нейрореанимация», граница между жизнью и смертью. У дверей кнопка – для вызова врачей. Угрожающая надпись: «Посторонним вход строго воспрещён» – с тремя восклицательными знаками.

Увозили как в облаке – в белоснежной пене простыней. Он, на порожке, где санитарка с коляской запнулась, слабо махнул ей рукой. Створки двери сомкнулись.

«А если бы я не приехала?»

«А если бы я не рыдала, не кидалась к врачам в приёмном?»

Она сидела на банкетке совершенно обессиленная – от пережитого потрясения, валерьянки, слёз. Слёзы бежали ру-

чьём, она их вытирала бумажными носовыми платками, упаковка уже кончалась. Она не могла остановиться, собраться, сосредоточиться. 19.50 на часах.

Вышел врач в голубой униформе, высокий серьёзный мальчик с умным, строгим лицом. В руках у него – история болезни.

– Вы – родственница? – участливо глядя в её зарёванное лицо, спросил мальчик.

– Нет, я коллега Ивана Сергеевича, – твёрдо сказала Жена.

– А родственники где?

– Жена – дома, она больна. А сын – в другом городе.

– Могу ли я вам доверять? – задумался мальчик.

– Так всё равно больше некому! – воскликнула она.

– Я тогда запишу ваш телефон. – И мальчик вписал его в историю болезни. – И вот что я вам скажу: ситуация критическая, в ближайшие часы нам может потребоваться человек, который даст санкцию на нейрохирургическую операцию.

Ужас, видимо, так явно отразился на её лице, что мальчик поторопился её успокоить:

– Вы не думайте, мы всё делаем, что нужно, помощь пациенту оказывается.

– Да он у вас два часа в приемном просидел!

Мальчик поморщился:

– Это непорядок, конечно. Но мы отвечаем за него с мо-

мента поступления в отделение, видите, в истории болезни записано: 19.50. – И мальчик показал ей строчку с датой и цифрой. – Так вот, я вызвал мобильную нейрохирургическую бригаду для консультации, если они скажут, что нужно немедленно оперировать, мне будет необходимо письменное разрешение родственника.

– А вы сами как считаете, потребуется операция? – Женя заглядывала в его глаза, и, наверное, была в эту минуту очень жалкой.

Мальчик задумался.

– Понимаете, любая операция на мозге – это огромный риск для пациента... Но иногда приходится выбирать из двух зол меньшее.

– А когда будет бригада?

– Не могу сказать! Может, через 15 минут, а может, через 6 часов! Они же и по другим больницам смотрят пациентов. В общем, ищите родственников, а я пойду посмотрю, что там...

Она включила мобильник Вани, пролистала телефонную книжку, нашла номер сына. Вот, через минуту в его жизни всё изменится. «До» и «после»...

Она набрала номер со своего телефона. Трубку взяли, раздраженно сказали «да». Слышно было, как рядом плакал ребёнок.

Она начала издали:

– Здравствуйте! Я коллега Ивана Сергеевича...

Там, в другом городе, взрастала новая жизнь, плакал ребёнок, а тут, возле голубой вывески «Нейрореанимация», она тоже плакала, по-детски, не зная, как победить беду...

– Вы только маме ничего не говорите, домой не звоните, ладно? У мамы сахарный диабет, ей нельзя волноваться, она, если узнает, что отец в реанимации, не представляю, что с ней будет... Пусть думает, что в терапии, я сейчас ей позволю, скажу, что всё нормально, что я с отцом говорил.

– Да, да, конечно.

– Я сейчас еду на вокзал, беру билет, я утром буду!

– Я вам позвоню, как бригада приедет, какой вердикт.

– Да, да, я буду ждать! И – спасибо вам огромное, что вы сейчас там. Пожалуйста, не оставляйте отца!

– Ну что вы! Иван Сергеевич столько для меня сделал...

«Пусть он лучше погибнет, чем потеряет разум», – вдруг смирилась Женя. Представить его сумасшедшим, парализованным, его, такого победительно-сильного, могучего и красивого?!

«Господи, сделай так, как лучше для него! Если ему легче будет от смерти, то я согласна. Пусть даже я останусь одна, пусть я буду страдать и мучиться, но только бы ему было лучше!»

Никогда она не подозревала в себе такой самоотвержен-

ности и смирения!

Мобильная бригада нейрохирургов состояла из трех человек – усатого матёрого мужика с чемоданчиком, женщины пенсионного возраста с седыми волосами и хмурого парнишки-студента. Они появились из лифта внезапно, уверенно распахнули дверь со строгой надписью и двинулись в глубь отделения, оставляя грязные следы на линолеуме.

Дверь захлопнулась.

Она ходила как заведенная – туда-сюда, и механически, будто выполняла незримый урок, твердила «Отче наш».

Бригады не было долго – наверное, минут сорок.

«Бумаги пишут», – догадалась она.

Наконец они вышли.

Женя бросилась к матёрому:

– Что там?

– Операцию делать не будем – может не пережить.

– А прогноз?

– Тут вам никто не скажет. В любой момент давление может подскочить, повторный инсульт, и...

– Он в сознании?

– Сейчас спит. Третий и пятый день станут решающими.

Она оделась, взвалила на плечо огромный черный мешок с вещами, вышла на улицу. Было около трех ночи, но ей совершенно не хотелось спать. Она поймала частника на но-

венькой белой иномарке, и он повёз её домой, на другой конец Москвы. Играла бойкая музыка. Водитель, молодой кавказец, развлекал её разговором, она поддакивала, понимая, что беседа ему нужна, чтобы не клонило в сон. Он рассказывал историю про кредит, на который он взял эту машину (это была редкая и дорогая марка, она тотчас забыла название), кавказец не бил машину в пробках, берег от кучной езды и выезжал на промысел ночами, когда пустые дороги и щедрый клиент.

Это был какой-то иной, параллельный её бытию мир, она ехала в роскошном авто с погребальным мешком, в котором были сложены – кое-как – вещи Вани: пальто, брюки, кепка, шарф, рубашка в крупную клетку – она ему очень шла, впрочем, ему всё шло; и часы – её всегда возмущало, зачем он носит такие тяжелые, «брутальные» часы, а он ими дорожил – подарок сына...

Водитель уже нахвастался и даже из вежливости спросил, почему она возвращается так поздно и что в мешке. Она ответила уклончиво, без подробностей, не желая сбивать его с весёлого настроения. «Ещё настрадается, молодой...»

Она проснулась, будто от толчка, рано. «Что же вчера было плохого?» И тут же воспоминания вчерашнего дня и ночи вернулись к ней, и она даже застонала от боли...

Дверь в отделение была приоткрыта. Женя заглянула в щель, пытаясь прислушаться к разговору в ординаторской. Кажется, говорили о Ване, но ей ничего не удавалось разо-

братъ. Тогда она выдвинулась чуть сильнее, и в этой позиции её застал вышедший из палаты врач.

– Что вам? – Он спросил неласково, почти грубо.

– Я вот... к Рязанцеву... вечером поступил. – Она с ужасом чувствовала, что сейчас, против своей воли, разрыдается.

– Пройдите, – кажется, чуть смягчаясь, сказал врач, – в 14-й палате он.

(Что значит это разрешение? Он так плох, что мне разрешают на него взглянуть? И почему «пройдите», если написано «посторонним вход воспрещен»?)

– Халат только наденьте, – приказал врач.

(За дверью на гвоздике висело несколько халатов.)

Она робко толкнула дверь.

Ваня лежал к ней лицом на высокой, как трон, кровати, весь опутанный проводами, с раскинутыми («как на распятии» – ужаснулась она) руками.

Он спал.

– Здравствуй, сынок. – Он слабо шевелил губами. И то, что они с Колей вошли вместе, его не удивило.

– Может, мне выйти? Вы что-то хотите обсудить?

– Нет, будь на месте, – даже такой, беспомощный, весь перевитый проводами, прикованный к реанимационной кровати, он управлял ими.

– Что ты сказал Коле?

– Он сам мне всё сказал. «Пап, ты не волнуйся. Я всё понимаю. Я маме ничего не скажу».

– А ты...

– А я сказал, что я без тебя умру. И что пусть нас Бог судит, Он нас соединил.

У каждого свои возможности для отвлечения от главного, от сути жизни. У кого-то – лишняя тряпка, лишняя тарелка супа, поездка в Дубай... У неё была новая работа. Она ею увлекалась, а жизнь проходила мимо, мимо. А главное, они с Ваней стали реже видаться. Он не протестовал. Он просто попал в реанимацию.

– Спасибо вам. – Коля смотрел на неё мученически-благодарно. – Я, знаете ли, отцу хочу сиделку нанять...

– Нет-нет! Я всё сделаю!

Коля ничего не ответил, только махнул рукой и отвернулся.

Это самое трудное: оправдать свою любовь, когда она со всех сторон грех. (Как будто жизнь вообще – не грех! Но зачем же тогда все эти копошения, если с самого начала всё – грех?!)

Дело было не в том, что он был лучший для неё, это понятно, без этого никакой любви не бывает, а в том, что он был лучший вообще. Лучше всех.

(Потом она у него спросит: «А тебе встречались в жизни

мужчины сильнее тебя духом?» И он, после раздумья, отрицательно покачивает головой.)

Да, всё дело в нём, в его исключительности! Женя впадала в самоуничужение. Но и тут Ваня всё выравнивал и приводил к гармоническому виду:

– Если бы дело было только во мне, то, выходя, допустим, на луг, где пасутся козы, коровы, я бы чувствовал то же самое, что и в твоих объятьях...

Женя хохотала – так наглядно и точно он объяснял.

Она ещё не готова была понять, что и она, соединившись с ним, уже не такая, как все, а избранная. Пусть и светящая отраженным светом, но – его светом.

– Ты знаешь, сколько женщин признавались мне в любви?! Я ни одну из них даже не помню. А с тобой я всё время в мыслях...

«Как же я пойду на работу?» Заплаканные глаза, набухшие веки. В подземном переходе она нашла ларёк с оптикой, но тёмных очков от солнца почти не было – не сезон. Она выбрала с широкими стёклами, чтобы максимально закрывали лицо. Очки были не по размеру, сдавливали голову. Она поразилась, каким тёмным стал мир (день и так был пасмурный, без солнца). «Мир без Вани, наверное, будет для меня только таким».

Она зашла в храм в неурочный час. В огромном простран-

стве бродили неприкаянные фигуры. Она купила свечей и попыталась найти «знакомых» святых, но слёзы так лились из глаз, что она почти ничего не видела.

– А вы поставьте свечу к этой иконе – 12 святых целителей – и половина ваших бед уйдет.

(Наверное, это был ангел-хранитель в образе сердобольной, интеллигентной женщины.)

Она поставила свечу, и её пронзила такая боль, что она невольно вскрикнула и разрыдалась. О чем она молилась? Не о себе. О нём. Пусть ему будет легче!

(И эта же амплитуда – между силой воли и чуткостью, ранимостью – только много больше – была в нём.)

Сердце её плавилось как воск, плакало свечою в высоченном, величественном храме, где она была так мала.

Как знать, может быть, они последние настоящие влюблённые на всей Земле? Может быть, на них-то и держится весь мир?

Циммер куражился. Самовыражался, самовозбуждался, лил потоки словесной патоки, расцветал, вдохновляясь собственной демагогией. А то вдруг приходил в себя и говорил вполне трезвые вещи, но тут режиссёр Игорь, пытаясь «завязать диалог», простодушно высказывал дельные предложения, и тогда грязевой поток открывался у Циммера с новой силой.

«Пропади ты пропадом», – с отчаянием думала Женя,

украдкой поглядывая на часы.

Она вспоминала, что в тот самый день, когда с Ваней случилась беда, они не смогли встретиться – Циммер вызвал съемочную группу на внеплановое совещание и три часа, не замолкая, нёс полную ахинею, глумился над ними. Зато встречаясь с руководством, их начальник истекал подобострастием, волшебным образом преображаясь в самую любезность.

Работа – продюсер на телевидении – ей очень нравилась. Найти её было большой удачей.

– Зачем мы всё это слушаем? – вскинулся Игорь.

Женя апатично пожала плечами.

– Терпеть ваши оскорбления мы больше не намерены. Вы абсолютно непрофессиональный человек. Мы увольняем.

Она внутренне ахнула: рафинированный атеист сделал то, на что она, наверное, никогда бы не решилась! Унижение так и длилось бы, высасывая из неё силы, делая её недостойной Вани.

– Да пожалуйста! – истерически вскричал Циммер. – Ска-тертью дорожка. Видали мы таких!

Она потеряла престижную работу с хорошей зарплатой, и с какой радостью!..

Дома она сказала сыну, что уволилась. Костя кивнул. Он, такой чуткий и ревнивый, ничего не спрашивал: где она бывает, уходя с утра и возвращаясь ночью, почему так похудела и почему у неё тревожные, исплаканные глаза.

Женя поняла, что значит «ослепнуть от горя» – у неё рез-

ко упало зрение. Сидела, подшивала домашние брюки. Тыкала ниткой в иголку – наугад, не видя. «Возьми, не пожалеешь, – убеждала её торговка. – Я тебе со скидкой продам, потому что с манекена. У меня и зять носит, и муж. В них не только по дому, но и по улице можно ходить. Российского производства!»

И действительно, Ване полюбились эти брюки, понравились. Вот что значит, когда с хорошим сердцем проданы.

Одежду она выбирала с большим тщанием, и ложки – чайную и столовую, и вилку (потом докупила). «Столовое серебро» для больницы.

Она всё время теперь ставила себя на место других, тех, кому было ещё хуже, и ужасалась. На банкетке у входа в нейрореанимацию плакали молодые женщины – Лейла и Роза, жена и сестра. У Тимура обширный инсульт, «на полголовы».

– Он выздоровеет! Он справится, он сильный! – уговаривали они друг друга.

Через сутки врачи нашатырем приводили в чувство упавшую в обморок Лейлу. После, прибитые горем, в черных платках, женщины приходили в отделение за справкой.

Она шла по коридору нейрореанимации, стеклянная стена отделяла её от пациентов: бесформенные тела в памперсах, старухи с обнажёнными сумками груди, испытые

небритые мужчины, покалеченные в авариях парни, перекошенные инсультами старики, синюшные женщины с бессмысленными лицами; они были опутаны трубками, подключены к мерцающим огоньками аппаратам, они походили на гигантских, прикованных к опорам осьминогов, они стонали, хрипели, испражнялись, кто-то кричал в безумии...

«Да это же ад, страшный суд!» – ужаснулась она.

Заведующий отделением оказался душевным, улыбочивым мужчиной средних лет. «Ему бы психотерапевтом работать!» – подумала Женя, робко вглядываясь в ясные глаза в опушке из густых ресниц. Павел Николаевич сидел в своём светлом, уютном кабинетике за компьютером и деловито, двумя пальцами, печатал врачебную бумагу.

– Я вам разрешаю бывать в отделении, ухаживать за пациентом. Мы его отдельно положили, а то ему будет со всеми шумно, видите, какой у нас контингент...

– Спасибо вам огромное!

– Если будут какие-то проблемы, сразу зовите дежурного врача.

Ваня лежал в палате с глухой, а не стеклянной перегородкой, через стенку от ординаторской. Над кроватью – номер «16». Это была заброшенная палата-кладовка, огромная комната с высоченными потолками. За ширмой в обилии громоздились ящики с физрастворами, медоборудованием, рядом стояла заправленная чистым кровать.

Места было много и воздуха много, и было огромное окно с жалюзи. Днём, когда в него било солнце, Женя закрывала створки. Присмотревшись к действиям врачей, она научилась мерить давление на огромном аппарате, где бойко бежали кривые сердечного ритма. («Вы аккуратней только, – сказала медсестра, – аппаратура очень дорогая, не расплатитесь, если поломаете».)

Но Женя ничего не поломала. Здесь, в реанимации, она сама возвращалась к жизни, к тому высокому напряжению, в котором жила их любовь, к сверхчувству, имевшему свои права – поверх жизненных предписаний и законов.

Жизнь шла своим чередом, и она изумилась, что в метро много молодых, здоровых, весёлых лиц, что тут деловой и чуть разгульный настрой. Жизнь, оказывается, шла и за пределами реанимации; а она не видела, не слышала ни зимы, ни оттепели, всё проходило мимо, ухало в бездонную гать, которую ей следовало замостить, проложить через неё дорогу на сухой берег, к живой жизни.

В метро крепкие, широкоплечие парни хохотали (она поймала себя на чувстве, что смотрит на них осуждающе), девочки в модных шубках стреляли глазками, притворяясь, впрочем, что им нет никакого дела до грубых мужланов.

Да, шла жизнь, которая прекрасно будет идти и без них, без их любви. Значит, любовь нужна, прежде всего, им самим – для спасения.

В ту зиму – первую зиму их любви – тоже шел снег, стоял жуткий мороз – как сейчас, только тогда зима была ещё дольше, казалось, что ей не будет конца.

У неё было бедное пальто на «рыбьем меху», но длинное, в пол, как шинель, они ходили по паркам и целовались в мороз.

– А давай помечтаем... Как я выздоровею, и мы с тобой будем ходить по бульварам. Потом посидим в кафе, потом я тебе буду играть...

Женя кивала. Нет, она ни о чём не хочет мечтать! Она хочет прожить этот день благополучно, а что будет завтра? Она даже думать не хочет про завтра, она живёт одним днём, одной заботой, одной надеждой, одной молитвой.

В лифтовое зеркало на неё смотрела красивая молодая женщина. «Возьми меня с собой», – твердила она.

Отодвинув смерть, они были счастливы, может быть, так счастливы, как в первые дни их любви.

Стояли немислимые, чудовищные морозы, но она их не чувствовала – стужу она переносила легко. И бессонницу, и бескормицу – легко. Тяжело она переносила только его страдание.

На Крещение, 19-го утром, она всё прикидывала, где взять святой воды. И путь всё не вырисовывался, получалось долго, неудобно. Как вдруг, уже подъезжая к «Театральной»,

она вспомнила о храме на Ильинке, прямо у метро «Площадь Революции», куда они однажды заходили вдвоем.

Она побежала туда, и всё устроилось – очередь была совсем небольшая, потому что на разливе стояло несколько женщин; она и свечи успела поставить, и помолиться.

Потом она смачивала его святой водой, поила его, не особо, впрочем, веря в чудо, не надеясь.

И только через год, когда она увидела колокольню этого храма в морозном небе, она вдруг вспомнила, что на следующий день ему стало сильно лучше, он почувствовал себя почти здоровым... А тогда она даже не поняла, не оценила чуда.

Поздней ночью она вышла из метро и вдруг почувствовала, что страшное напряжение последних дней её отпустило, что в мире что-то изменилось, «сдвинулось», и что она, похоже, вырвала его у смерти; что сейчас будет передышка, и оттого ей стало даже чуть скучно, чуть обидно, и каким простым и ординарным показался мир вокруг!

Произошел перелом. Она будто бы вышла из шахты, тяжелого забоя, усталая и оупевшая.

И она даже пожалела, что эти несколько дней в реанимации миновали. Они снова вернули, возвратили её к первым дням их любви, к первородному высокому чувству.

– Вам, конечно, фантастически повезло, что удар обошел-

ся без фатальных последствий – мозг не пострадал. Кровоизлияние обширное, величиной с яблоко. Чудо, что кровь ушла в желудочек. Но слабость, головные боли, проблемы с координацией ещё будут долго.

Если у любви есть крылья, то они несли её в этот день, поднимая, как птицу, над землёй. Они ведь были созданы друг для друга изначально, но что-то сбилось в настройках истории – их жизни развели по параллельным орбитам. А любовь поломала всю «астрономию» судеб, и они всё равно встретились, всё равно, назло козням и несовершенствам мира.

– Хоть посмотреть на мозг великого человека, – говорил Миша Корнеев, рассматривая у окна снимки компьютерной томографии и качая головой.

В аду – в реанимации – у них был райский уголок – отдельная палата, где стараниями черноглазого ангела – мальчика-врача (всё решалось в первые сутки!), Ваню вернули к жизни.

– Ещё хоть денёк полежать бы здесь, – просил он заведующего.

– Мы и так вас держим нелегально, у нас больше трех суток нельзя – либо на поправку, либо на тот свет... А вы у нас пятые сутки... Нам отчитываться надо за место, понимаете?

(В реанимации их любили – Женя чувствовала. Потому что врачи, наверное, понимали, что тут не просто «медицин-

ский случай», а другое, редкое, про которое в книгах пишут или в кино показывают.)

Их перевели в отделение неврологии. Вот где было по-настоящему страшно: в шестиместной палате четверо сумасшедших.

– Кваску! Катя, кваску! – кричал и рвался привязанный к кровати здоровенный малый в памперсах. Он не различал день и ночь, медиков и пациентов. В минуты просветления он угадывал лишь Катю и тогда плакал, скулил от боли. Полупарализованный, дергался левой стороной тела, отказываясь ходить на судно – стеснялся. Рвался в туалет. Он жутко кричал ночами, никому не давая спать.

«Бедная Катя! – Она видела покорную спину несчастной женщины. Катя приходила после обеда, кормила больного, ухаживала за ним. – А ведь на её месте могла быть я!»

– Не имей сто рублей, а имей... Что имей? Рубанов, думаем, думаем!

Врач-педагог учила говорить лысого, усатого мужика. Он мычал, глупо улыбался.

– Вспоминаем! Не бездельничаем! Без труда не выловишь и рыбку... Откуда тащим рыбку? Рубанов, в чём проблема? Ну, откуда рыбка?

– Так, всё ясно, думать не получается. Повторяем за мной: не всё коту Масленица.

Рубанов, потея, краснея и заикаясь, выдавливает из себя слоги.

– Молодец! И дальше: не всё коту Масленица, будет и Великий пост...

На фоне общего безумия Миша Корнеев смотрелся совершенно нормальным.

– Вы чего здесь? – изумилась Женя.

– После инсульта – адские боли. Боюсь, что с ума сойду. Лечусь.

– Помогите Ивану Сергеевичу, если что попросит, ладно? Мне домой надо.

С Мишей они подружились (вот и «друг семьи» у них появился!). Корнеев приглашал: «Как выздоровеете, приезжайте ко мне в Можайск на лошадях покататься. У меня ферма своя».

В неврологии они пролежали недолго. Врач, похожая на студентку-отличницу из сериалов (в круглых очках, с круглой же головой), перевела в терапию: «Там поспокойней».

Если Ваня начинал жаловаться, мол, его шатает, нет сил, и когда же станет легче, Женя напоминала ему про палату безумных: «Не всё коту Масленица...» или «Катя, кваску!».

Не дай нам бог сойти с ума, уж легче посох и сума...

Любовь была разлита в мире, любовь решала всё: видя её самоотверженность, таяли самые холодные сердца, врачи, медсёстры, все они жили привычкой, очерствели душой – без этого можно сойти с ума от страдания, а любовь – она

ведь редкость в больницах; в больницы попадают нелюбимые, любимые счастливы и не болеют, нелюбимым выказывают жалость, участие, внимание, а вот любовь – это редкость... Любовь даже в книжках теперь редкость, чего ж говорить про жизнь!

В больнице смиряются с обстоятельствами; ну, мало ли, «все умрём...». И когда сталкиваются с любовью, это редкость, исключение, это удивляет!..

Может, и у Жени её любовь ослабела, если Ваня попал сюда?

Игорь (режиссер) звонил ей, сочувствовал. Говорил: «Ну найми сиделку». (Он был в курсе, что у неё родственник в больнице, не знал, правда, какой родственник.) Она не понимала: что может дать сиделка? Вынести судно, покормить с ложечки? (Всё это и она делала.) Но сиделка не будет тащить человека с того света, не будет переливать ему свою силу, не будет говорить сто раз на день «люблю» – каждый раз с новой интонацией, то с восторгом, то со слезами на глазах, не будет целовать его руки, исколотые иголками капельниц. Сиделка не будет мысленно молиться у дверей ординаторской, ожидая вердикта лечащего врача, нет, зачем сиделка, если есть Женя?!

Была стужа, морозы, потом с неба летели «куры» (огромные, растрепанные хлопья снега), потом пришла оттепель. Были отдельные палаты и «общежития», была реанимация и терапия, неврология и гастроэнтерология. Были депрессии

и подъемы, был восторженный, озабоченный сын Коля, были паровые котлеты из индюшатины, белорусский творог, ряженка из Тверской области... Была золотая хурма, бананы и гранатовый сок. Была любовь, была их «семейная жизнь» на виду у всех, в больничных палатах.

Как примирить их грех с жизнью? Вся жизнь, вообще говоря, есть нарушение правил (правила – это «средняя температура по госпиталю»). Весь вопрос в том, для чего ты нарушаешь предписанное? С каким сердцем?

Их встреча не была «счастливым случаем», удачей. Случай возносит на вершину власти и могущества бездарностей и ничтожеств, а талантов и трудяг загоняет в забвение; случай дарит внезапное богатство и фантастическое везение, случай – игрушка, которую подбрасывают людям языческие боги.

Но их встреча не была случаем и не оставляла никакого выбора – Бог соединил их, чтобы продлить жизнь и приблизить к себе.

Теперь она стирала, кормила, убирала, любила, заботилась, покупала газеты – «Московский комсомолец», «Аргументы недели», «Мир новостей», однажды даже купила «Новую»; она мерила давление, целовала лоб, чтобы понять, есть ли температура, протирала спиртом исколотые руки, гладила пижамы, стирала носки и трусы, заботилась о том, чтобы в

холодильнике были свежие продукты – фрукты, чернослив, хурма, йогурт, детский творог и соки.

Это была семейная жизнь, о которой она мечтала, и она – сбылась.

Он не хотел переводиться из отделения терапии, ему нравилась эта одноместная палата (Коля оплатил). В окно была видна серая берёза, на которую часто прилетали птицы – не вороны, не галки, а какой-то обобщённый городской образ воздухоплавающих.

– Смотри, куры летят! – однажды воскликнула она. С неба действительно падали великанские хлопья снега, частые, белые, лохматые, такой снег, наверное, бывает только однажды за зиму.

Как замороженные они сидели близко-близко у окна, и, казалось, что они не в больничной палате, а в волшебном лесу, в сторожке лесничего, где печка даёт тепло, где им спокойно и надёжно, а завтра у них – зимний трудный день, перед которым они набираются сил в уюте и довольстве.

Она размышляла о любви, разлитой в мире, и с грустью чувствовала, как её, оказывается, немного. Люди живут привычкой, обычаем, рефлексом, по «накатанной». Жизнь как хлеб, но не хлебом единым...

А чем?

«С музыкой ты никогда не будешь бедной или униженной». И вдруг она увидела его, несчастного, одиноко сидя-

щего в углу приемного покоя, корчащегося от боли. А как же музыка?.. Не помогла? Обманула?

Но разве её саму не привела к нему музыка? Музыка, которую она впервые услышала от него! Значит, он был прав. Как всегда!

Творческая воля была в нем сильнее всего. А в ней? Может быть, вера любви?

Но как жестока жизнь! Жизнь, которая будет продолжаться и после нашего ухода.

По телевизору показали:

а) что замело трассу до самого Ростова, но уже расчищают;

б) что президент встретился с иностранной делегацией, прибывшей с официальным визитом, и обсудил вопросы экономического сотрудничества;

в) что бобслей – олимпийский вид спорта.

Это был огромный сюжет – минут десять, не меньше – про сани, длину желобов, скольжение, подготовку трассы, костюмы спортсменов. Видно было, что режиссер снимал с большим тщанием – использовались спецэффекты и анимация, инфографика и архивные кадры.

Ваня с недоумением посмотрел на неё: он побывал за гробом и вернулся, долго бился со смертью, выкарабкивался из болезни, и всё – ради чего?!

Женя, видя его разочарование, лишь развела руками: мол,

ничего поделывать не могу.

Оказывается, «вся полнота жизни», отраженная в телевидении, ничего не значила по сравнению с тем, что они пережили за эти дни.

Кончилось их приволье – в кардиологии была только двухместная палата.

Сосед Вязьмитин оказался человеком деликатным и очень тщательным – всё записывал в книжечку, очень интересовался своим здоровьем, и вообще был мужчиной примерным во всех отношениях.

«Кагэбэшник», – решила Женя.

Это был первый день, когда они вышли на улицу – врач разрешила ещё неделю назад, но Ваня всё медлил, не чувствуя в себе сил.

День был промозглый, серый. В беседке курили санитары и больные, возле мусорных баков суетились голуби, берёзы стояли молчаливо, тихо. Она увидела, как посветлело его лицо.

Они ходили хаотично, бессистемно, а высокий мужик в трениках с тремя белыми полосками всё наматывал и наматывал круги вокруг корпуса. Он назидательно заметил им: «Ходить надо по часовой стрелке! Тогда толк будет!»

Они смеялись.

Они походили с полчаса. Ваня устал. Поднялись наверх,

в палату. Она помогала ему раздеться. Вязьмитин деликатно вышел. И тогда Ваня налетел на неё и стал целовать её с такой отчаянной страстью, что она едва успела закрыть дверь на защёлку.

«Это была наша Олимпиада, наш рекорд». «Ну тогда уже параолимпиада...»

Она ехала по Шаболовке на трамвае и вспоминала: ах, так это же здесь начиналась их любовь! В старых домах жил его товарищ, скрипач Снегирёв. Она вспомнила, как они шли от метро, втроём, и она, конечно, понимала, зачем она идёт в гости к одинокому Снегирёву (он их тактично оставил после чая), но не это было главным. Вдруг выяснилось, что близость, составляющая самую суть, вершину отношений мужчины и женщины, есть необходимое, важное, даже жизненно-важное в их отношениях, но самый смысл любви – не в этом, а в чём-то другом, неуловимом. Нет, их не настигло ни разочарование, ни опустошение, ни равнодушие, ни сытость, да, произошло необходимое, неизбежное, но тайна была в другом и ничего не пострадало в них от греха. Они были люди, мужчина и женщина, желающие друг друга, но они будто и не были просто людьми, были ещё и души их, дремавшие прежде, не могущие выразить себя полностью, и вдруг души эти вышли на простор, они встретились, они воодушевляли и радовали тела; у душ словно тоже была правда, и духовный путь – главным, а тело, да, тело – это дом, но главное – было в чём-то другом, другом!..

«Боженька, прости нас!» – шептал он, обнимая её. «Боженька, прости нас!» – мысленно вторила она ему, и слёзы бежали из глаз. Что ж, мы не ангелы, мы грешные люди, но мы признаём над собой великого Бога, соединившего нас.

Снегирёв жил в настоящей холостяцкой берлоге, запущенной, небранной. Но пианино было хорошим, настроенным, и Ваня обязательно ей играл – своё, чужое... Трамвай медленно катил по Шаболовке, с деловитыми звонками, с покачиванием железного вагончика (что-то игрушечное, детское было в этой езде), она ехала, вспоминая их любовь, удивляясь ей, и жизнь ей казалась непостижимо-высокой, похожей на сказку.

Творчество – не просто работа, время, талант. Творчество – божественная энергия, которая либо даётся тебе, либо нет. Ваня был чистым её носителем. А она оказалась рядом, купалась в её лучах. Но она была нужна ему. Чтобы его жизнь продлилась... Вот и всё. Вот и весь грех.

Она ввалилась домой, от усталости еле волоча ноги. У сына в гостях невеста («Я, мам, женюсь скоро», – сказал ей Костя как бы «между прочим», а у неё даже не было сил «выяснить отношения»), и они нестройным дуэтом декламировали под караоке: «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую!..»

«Тоже музыка!» – умилилась Женя, падая в сон.

Елка дома стояла неразобранная, грустная. И наряжена она была наполовину. Жизнь проходила второпях и, может быть, самые счастливые её моменты были в больничных палатах.

Наступил День святого Валентина, праздник всех влюблённых, народ нёс цветы. Ваня не помнил музыки, сочинённой в реанимации (несколько фраз Женя записала), он вообще ничего не помнил оттуда. Не помнил, как она неумело брила его, как кормила с ложечки, меняла бельё... Может, и к счастью, что не помнил.

Он нёс в себе идеальный мир, а она стояла у подножия невидимого града, удивляясь, что ей дано счастье слышать, чувствовать, осязать эту великую красоту.

«Боженька, не разлучай нас», – твердила она то, что Ваня ей сказал тогда, у окна на скамейке.

«Эх, пройтись бы сейчас по Тверской после хорошего концерта, выступления!»

Сколько они ходили по Москве! Их можно назвать самыми бродячими влюблёнными Москвы – они многократно прошли все бульвары, Остоженку, Тверскую, Большую и Малую Дмитровки, обе Никитские улицы, все переулки вокруг Консерватории, Гнесинки (Ваня там преподавал), они ходили в листопад, в снег, в метель, в ливень, да ведь это редкость, редкость – такая любовь!

И везде пели, гремели, шипели, щёлкали и пищали звуки, и вся она была одно напряженное и восторженное ухо, улавливающее жизнь.

– И вот этот герой, из мира стихий и гармоний, должен жить в «слишком человеческом» окружении быта, мелких разборок, сует... Земные женщины любили его красоту («Рязанцев фантастически красив!» – восторгалась после записи на Пятницкой редактор Лера, не зная, что мы знакомы); но не понимали его желаний, метаний... И тогда как античный Зевс рождал своих детей из себя, так и Ваня нафантазировал меня в музыке. И получилась цепь: Ваня – божественный и человеческий (как любой творец), и я – человеческая и Ванина – как любой помощник творца. Я была «немножко он», и оттого мы так хорошо слышали друг друга, например, часто одновременно звонили друг другу...

Так говорила она себе, чтобы потом поделиться своими открытиями с Ваней.

Их окружали обычные люди и «типажи»: задиры, зануды, ханжи, карьеристы, подлецы, трудяги, правдолюбы, шалопайи, жулики; люди, катящиеся по установленной колее, словно отрабатывающие проложенный «сверху» маршрут; встречались, впрочем, и оригиналы – непонятные, загадочные, самодостаточные; на работе Женя насмотрелась на людей публичных – как наркотик, им нужны софиты и трансляции, без

подпитки миллионов они сохнут и вянут, как вампиры без крови; наконец, есть люди гениальные, одарённые могучим умом или воображением, будто парящие над всеми, создающие произведения или совершающие открытия, которыми пользуется всё человечество (хотя они не заботились об общественной пользе, это у них вышло между прочим, от избытка сил). И, наконец, над всей людской пирамидой был для неё Ваня. Человек, способный творить не только музыку, но и творить человека «из ничего», так, как, допустим, он сотворил её...

Временами её тянуло вниз – от неверия. Тогда она пыталась смотреть на вещи обыденно, «как все», и тогда получалось, что жизнь её разгромлена, её положение чудовищно, она – в неопределённом семейном статусе (даже двусмысленном), а с точки зрения религии – вообще в страшном грехе; тогда она пробовала как-то упорядочиться, придать себе хотя бы внешний вид «добродетельности»; но эти благие намерения только ослабляли Ваню, он всё чувствовал запретным, первобытным чувством, и всё знал про неё, ничего не спрашивая.

Но любое её простое, искреннее слово («я тебя люблю») было целительным, и лечило его – на глазах. Будто это не слово, а оазис с ключевой водой, до которого наконец-то добрался бредущий по пустыне одинокий путник...

На следующий день они снова вышли на улицу, снег осел,

кое-где обнажилась земля, чёрные латки на березах стали ярче, контрастней, знакомая ворона (видели в окно) летала как-то боком, будто балуясь, сварливо и заполошно каркая.

Теперь они ходили по кругу, как им посоветовал вчерашний пациент, сделали три неспешных обхода, Ваня жаловался, что в ногах нет твёрдости, а она говорила ему, что «лучше плохо ходить, чем прочно лежать».

– Ну, у тебя все аргументы ободряющие...

Они хохотали.

Позже, сидя в холле у лифтов на диванчиках у окна, они твердили друг другу о своей любви. Обсуждали быт: «Если бы не ты, я бы не стал сегодня ужинать. Ты возвращаешь меня к жизни».

Да, она дарила, возвращала ему то жизнелюбие, которым когда-то он одарил её – ведь она бы могла прожить свою жизнь в величайшем несчастье, в заблуждении, путая фонари с солнцем! А может, при её впечатлительности, рядом с другим человеком она бы давно погибла?!

Они спасали друг друга! Любовь – это и есть спасение, МЧС, скорая помощь, да что угодно...

– Любовь, мне кажется, редкое чувство, – бралась философствовать она.

– Любовь – чувство исключительное, потому что оно нам послано Богом. – Ваня был точнее и твёрже.

Возле больницы были высокие снега, морозные сосны, магазин «Магнолия» – там она купила кефир в бутылочке, детский сырок с ванилью – первая его пища, которую он съел с удовольствием сам (до этого в реанимации она кормила его с ложечки). Полулитровая бутылка воды «Шишкин лес» с соской путешествовала с ними из больницы в больницу, ей уже исполнился месяц, это был их талисман.

Они не съели вместе пуда соли, нет. 20 граммов сахара, больничные пакетики, она приносила домой, зелёное яблоко, апельсин (ему нельзя) – «гостинчики», которые она ела с особым, горько-благодарным чувством.

Они пили из одной чашки, ели из одной миски, той самой, в которой она в реанимацию принесла ему рис, приготовленный на пару.

– Как бы я без тебя был?! Я бы погиб.

– Не я, так другая. Кто-нибудь был бы, – вздыхала она, глядя его лоб.

Но никто другой не мог быть! Только она.

Она была для Вани все эти годы неплохим другом, вот что важно. Да-да, неплохим другом.

Лифт открылся, и Женя замерла на пороге: Ваня был в холле с женой. Она сидела к нему вполоборота, не видя Жени.

Лифт поехал дальше, она вышла через два этажа.

Для Вани главное – его дело – музыка. Для жены главное – Ваня. Для Коли – его родители, отец и мать, семья.

А для Жени? Музыка Вани? Нет, она бы так не сказала. Ваня сам – воплощенная музыка. А музыка – это и храм, и мастерская, и битва, и любовь, и наслаждение, и гармония. Густая, как мёд, сильная, как ветер, буйная, как штормовая волна.

Бывают счастливые, удачные дни, когда в метро тебя окружают красивые люди, когда по телефону все приветливы, когда на пути попадаются как раз те, с кем давно надо встретиться.

А бывают дни, когда всё против тебя. И давление скачет, и врачи раздражены, и суп противный.

Ваня устал, сник. Открылась язва желудка, его лечили тяжелыми препаратами. Он оживлялся, лишь когда приходила Женя, кормила его, заботилась.

– Тебя будут настигать тяжелые депрессии после инсульта...

– Да? Когда ты рядом, у меня нет никакой депрессии... Посмотри, какие несчастные берёзы! Чёрные, закопчённые. За городом они другие.

Ей шли сообщения на телефон, что нужно забрать заказанные книги из пункта самовывоза. Вечером она добралась до Тверского бульвара и поразилась, увидев деревья в мел-

ких, святящихся синим огнях. Как будто она высадилась на далёкой, волшебной планете... Неужели она останется жить, а его не будет?! Она была словно ветка, привитая к могучему дереву, что ж, на ней были особые, свои яблочки, но погибни дерево, она не выживет – это ясно.

«Неужели мы никогда больше не пройдем вместе по этой улице?»

Они прогуливались уже третий раз – вокруг морга. Стрелки «Траурный зал» соседствовали с указателями на МРТ.

Женя рассказывала про первую ночь, проведённую в реанимации, он ничего этого не помнил, удивлялся.

«Это от лекарств», – объясняла Женя.

Дело, худо-бедно, шло к выписке.

Ваня расстроился: «Как я буду без тебя жить?»

– Не привыкать, – жестко рубила она. – Считать за сон.

Вот магазин «Белорусские товары», вот кафешка с домашними половиками, где она однажды глотала кофе пополам со слезами, вот киоск «Избёнка», где брала черничный сок и термостатный кефир... Вот аптека, где она покупала настойку шиповника для укрепления иммунитета.

Утром она проснулась и, лёжа в постели, стала обдумывать: что же это было и есть, это чувство в её жизни и в жизни вообще? Часто ли оно встречается? Могла ли она вспомнить что-то подобное? Допустим, в искусстве? Где? У кого? И в чём суть «задания» её жизни?

У неё закружилась голова. Она потом ещё выпила крепкий кофе, и у неё даже затряслись поджилки – от волнения и напряжения. Но потом она успокоилась, стала вспоминать их вчерашнюю встречу, разговоры. Что же это было и есть? Любовь? Ну да, конечно, любовь. Но как бы глубоко и прекрасно не было это слово, оно всё-таки не описывало всего того, что чувствовала она к нему и, что уверенна, чувствовал он к ней.

Любила ли она прежде, до него? Нет. Но и между ними была не только любовь, чувственная привязанность, влечение, сходство темпераментов, вкусов, привычек (до определенного предела, впрочем, сходство – они же были мужчина и женщина, и многое в их реакциях было различно), было понимание, уважение и тревога друг за друга, были вплетены и востребованы в этом чувстве все их лучшие качества, но всё-таки это была не та земная любовь, которую ей приходилось встречать у людей. И осознание этой исключительности пугало её. Такое чувство – Бог даёт. Но зачем? У Жени мурашки пошли по коже. В чём это задание? Как его угадать? Просто жить? Ну, не может быть...

Взгляд её упал на икону – простую картинку из календаря, которую она постеснялась выбрасывать, вырезала и вставила в рамку. И вдруг ей подумалось: неужели Бог любит каждого человека точно так же, как они с Ваней любят друг друга? Ей стало страшно – от осознания – сколько же в Боге сил! Если даже какая-то частичка, золотинка, перепавшая им, так

осветила и перевернула их жизнь.

– А может, раньше, в неведомые времена, любовь такой и была? Может, нам достался этот клад, потому что мы искали его? Если бы мы искали богатства, власти, мы бы их нашли. Но мы искали любви. Могли бы, конечно, не найти. Есть достойные, правильные люди, которым этого счастья не дано. Они хорошие, в них всё благоправно устроено, но в них будто «ограничители» стоят. Я с ними чувствую себя неудобно – безнадёжно грешной. А с Ваней я чувствую себя слабой, несовершенной, но всё-таки способной встать и закрыть амбразуру – если потребуется. Один раз – но совершенно бесстрашно встать. Умереть за родину, за Ваню, за Бога – не задумываясь. Нет, на долгий подвиг я не способна, а один раз умереть – уже могу.

Так говорила она вслух – сама с собой.

– Могли бы мы встретиться, просто любить друг друга? Это тоже немало! Нет, не могли. Было ли это чувство нами как-то выстрадано, заслуженно? Ну, может быть, Ваней. А мной – нет...

И вот ещё что: он был среди нас, бедных, а не среди богатых и сильных мира сего. Ездил в метро, шёл по улице, и вообще – Ваня доступен в общении, без заносчивости. Раньше классическая музыка звучала во дворцах, для королей и знати, а сейчас, пожалуйста, иди в консерваторию. Есть даже

бесплатные билеты и места. Настоящее искусство доступно материально, но не каждому по душе. Бедные сами себя теперь обворовывают... И вот Ваня спустился к ним с сияющих вершин, а кругом – будто слепые и глухие. А Женя – откликнулась! Душа её откликнулась – бессознательно, чувственно, ничего не понимая толком.

«Значит, Бог по-прежнему среди нас; Он отправляет своих посланцев в народ, а люди кругом ослеплены огнём рекламы, миганием телеэкранов, уткнулись в окошки телефонов и больше ничего не видят! Уши их забиты тяжелыми ритмами, красота не трогает сердца... Вот, для того чтобы быть услышанным, Ване даже пришлось „родить“ меня...»

Всё будет хорошо: больные выздоровеют, одинокие встретят своё счастье. Дети вырастут, снова придёт весна... Жене хотелось плакать от полноты чувств. Всё будет! Их не будет, а счастье будет. В окно она видела машину «скорой», плавно выезжающую из двора. Господи, пошли выздоровления всем болящим...

Это было первое утро, когда ей не надо было немедленно вставать, бежать, не надо думать, чем его порадовать в больнице, ломать голову, изобретать что-то новенькое, чтобы завлечь его на еду – у него совершенно исчез аппетит, и от этого чувства неопределенности (как он сейчас?) было тоскливо, и она заплакала, вспомнив его несчастный, согбенный вид.

Его привезли в больницу с голубым матерчатым порт-

фельчиком (надпись на английском – «Международный конкурс им. Шопена»), там была кружка, туалетная бумага, таблетки и мобильный телефон, а уезжали они из больницы с огромной белой сумкой из супермаркета. Обросли вещами за 33 дня – три комплекта пижам, посуда, влажные салфетки, бинты, лекарства, продукты.

– Возьми себе еду.

– Домой сейчас приедешь, а вдруг там ничего нет? Чем будешь ужинать?

– Ты права...

А ещё целый пакет бумаг – справок, анализов, гигантские снимки компьютерной томографии.

Теперь она знала о нём всё – из больничной выписки. И что грудная клетка правильной формы, и что живот «обычный, симметричный», и что дыхание ровное, а пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения. А также количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и ещё тьма всяких подробностей – про почки, желудок, сердце, мозг, скелет, кровь, лимфу, и что поступил «в критическом состоянии, нетранспортабелен», и что выписывается «в удовлетворительном». Но эти анализы, биохимии, рентгены, томографии на самом деле ничего не рассказывали ни о нём, ни о его жизни. Ну, или почти ничего.

Она взяла планшетник (тот самый, с которым когда-то отправилась в приемное отделение), включила аудио. Нет, му-

зыка Вани не выражает ничего типичного, никаких общих тем. Она выражает только его! Его исключительную и недоступную красоту, внешнюю и внутреннюю.

– И за что ты меня любишь?! – снова удивилась она.

Женя вспомнила, как однажды сидела на концерте, Ваня дирижировал, руки его властно и бережно вели оркестр. Повелитель гармоний! И вдруг, на какую-то секунду, ей почудилось, что она всего лишь обычный слушатель и что Ваня для неё так же недоступен, как и для всех остальных, сидящих в зале. Ужас пустоты мгновенно открылся перед ней, душа содрогнулась, будто во сне привиделось страшное. Слезы счастья побежали по щекам – неправда, они вместе! Но разница, да, между ними велика. Примерно, как между рекой и лодкой...

«Может быть, любовь бессмертна? Может быть, она не умрёт вместе с нами?»

Нет, не в них было дело, не в их отношениях, чувствах (хотя и в них!), а в чём-то вечном, чему они причастны, призваны. Позже она пыталась ему объяснить это чувство, зная, что он его знает, но словами выходило плохо; грубо – не точно.

Музыка звучала, они – жили!

– Закажите такси, я вам потом деньги вышлю, – наказывал ей по телефону Коля.

– Хорошо, – соглашалась она.

Но Ваня уже ходил, а ехать от больницы до дома недалеко – семь остановок на трамвае.

Вот, Бог дал им это счастье – выйти вместе – из реанимации, из неврологии, из терапии, из кардиологии, снова из терапии. Пять отделений, две больницы – за 33 дня.

Ваня держался за неё, она тащила сумку, набитую вещами.

Трамвайчик был новенький, почти пустой, весело звенели звонки, ласково звучали остановки. Даже не верится! Они едут на трамвае! Вместе!

Остановка была прямо у его дома.

– А как же дальше? – Он был растерян и угнетён. – Я не смогу сам подняться, а тебе – нельзя...

Дворники-таджики долбили лёд на тротуаре.

– Сейчас, подожди.

Был нанят Тамерлан – за 50 рублей – сопроводить до квартиры 122, позвонить в дверь, дождаться, пока откроют, потом вернуться к Жене и получить доплату. Через пять минут дворник уважительно заглядывал ей в глаза: «Всё сделал!»

«Вот и всё!» – Она обогнула дом, вышла на небольшую площадь у метро, бесцельно потолкалась у рыночных ларьков.

Район был богатый, цены высокие. Прилавки ломились – гранаты, хурма, апельсины, яблоки, связки пахучих колбас, сочащаяся жиром копчёная рыба...

«Вот и всё!» – твердила Женя.

Коле она не стала звонить. Добрые вести дойдут до него сами.

Ей казалось, что эти 33 дня и 33 ночи слились в один чудесно-мучительный день, оплаченный его болью и страданиями.

Она ещё покрутилась на площади, купила в ларьке газету, потом ехала в метро, невидящими глазами смотрела в заметку, а внутри у неё всё дрожало – от перенапряжения, от тяжелой похмельной усталости, которая, наверное, бывает после кровавого боя, из которого им чудом удалось выйти живыми.

Она шла по аллее – золотистой от осенней листвы и яркого солнца, аллее, похожей на царскую тропу – такой торжественной и пышной была эта дорога. Природа будто воздавала почести, и от восторга у неё даже перехватило сердце, а потом жарко и радостно забилося. Она остановилась, оглянулась и увидела Ваню.

И вот они шли вместе по золотой шумящей аллее как триумфаторы, как счастливые царь и царица. Они, наверное, думали об одном и том же, но она не стала его ни о чём спрашивать.

Каждый день её был теперь наполнен радостью, ужасом и надеждой. Радостью этой удивительной, высокой любви, ужасом – случись что с Ваней, она просто не сможет этого пе-

режить; и надеждой – что, может быть, Бог как-то разрешит это трагическое противоречие, как-то спасёт их и не оставит своей милостью.

Марш коммунаров

В поисках работы Горелов так низко пал, что начал обзванивать малознакомых людей, с коими сводила его судьба. Поколебавшись, набрал и номер М. – весьма мутного типа, сотрудника Администрации Президента.

Против ожидания М. проявил к Горелову интерес:

– Старик, есть одно непыльное, ответственное местечко.

Но не по телефону, сам понимаешь!

Они договорились встретиться у памятника Пушкину.

Горелов пришел раньше и поразился обилию народа – тут явно назревало общественное событие, судя по количеству милиционеров и кучкующихся граждан со скатанными флагами, аккуратными табличками: «Мы – за бесплатное образование!», «Здравоохранение – обязанность, а не обуза государства», «Вся власть – советам!», «Дело Ленина всесильно, потому что оно верно» и далее в этом духе.

«Ах да, сегодня же 7 ноября!» – вспомнил Горелов.

Он двинулся по площади, всматриваясь в толпу. Лица – загрубевшие, одутловатые, покрытые сеточкой проступавших на щеках кровеносных сосудов, погасшие, с тонкими, посиневшими губами, с глубокими, словно вырезанными в дереве, морщинами, лица людей, почти смирившихся со своей незавидной социальной судьбой; лица, искаженные устремлённой в будущее идейностью, которая ныне пе-

реживала нешуточное гонение. Печать законсервированного страдания лежала на этих отверженных – остатках дисциплинированного советского народа, воспитанного на запове-ди «Не укради».

Как бы ни было плохо сейчас Горелову – выброшенному из социума безработному, но он вдруг понял, что его беда – пустяки по сравнению с тем, что могло бы быть; то же чувство, наверное, испытывает больной язвой желудка, навещающая знакомого в сумасшедшем доме.

От этих мирных, честных, бедных людей будто исходила невидимая опасность, «радиация». Но какая? И в чём она? И уж, конечно, это была не угроза буржуазии, «эксплуататорским классам». (Смешно!) Или это не опасность, а чувство больного и умирающего мира? Агония былого величия?..

Здесь, среди «ретро-населения», тронутого тленом и увяданием, Горелов испытывал неловкость и чувство стыда: он боялся старости и старался не думать о будущем.

День был неприглядным даже для московского хмурого климата – мерзкий ветерок, серая стынь, редкая крупа вместо снега. Горелов застегнул «молнию» до подбородка, набросил капюшон «Аляски» на голову и двинулся по площади – чтобы не замёрзнуть.

На каменных плитах ограждения активисты разложили оппозиционные газеты с мелким шрифтом, отчего страницы казались тёмными, грязными; тут же рвали глаз яркие партийные брошюры с оптимистическими портретами вождя,

стопками высились пожелтевшие издания доперестроечной эры.

Горелов остановился возле маленького, шмыгающего носом мужичка в заношенной шапке – черный искусственный мех свался в грязные сосульки. У продавца был богатый развал букинистики, настоящий пир библиофила! Из любви к приколам Горелов чуть было не купил у мужичка красочный альбом Сергея Михалкова «О Ленине» (издательство «Детская литература»). С каким тщанием были выписаны лица румяных пионеров в алых галстуках, ласковая улыбка Ильича, подобная солнышку, чудесные проспекты счастливых городов с фонтанами!..

«Как выгодно, оказывается, славить власть», – усмехнулся Горелов, вспомнив, что Михалковы и сегодня в чести – у новых правителей-капиталистов.

Тем временем румяные пионеры (в прошлом), а ныне синюшные, больные пенсионеры кристаллизовались в угрюмую чёрную колонну, чтобы пройти праздничным маршем по улице Тверской к Кремлю.

Горелов глянул на часы – уже пять вечера, вытащил из кармана мобильник – может, пропустил звонок?.. Нет, ничего не было – на экране телефона вспыхнула заставка – охотничий домик в Карелии. Значит, М. уже не придёт. Что ж, враньё – обычное дело для людей из власти. Горелов прислушался к себе: задело ли его чиновничье небрежение? Ну да, конечно. Но, с другой стороны, всё – к лучшему. Он М.

ничем не обязан, если что...

Горелов решил ещё потолкаться среди «идейных», посмотреть, чем кончится сборище.

Возле памятника Пушкину роилась особенно большая, энергичная кучка народа. Любопытствуя, Горелов подошел ближе и увидел телевизионщиков с тяжелыми камерами, с длинными, на «удочках», лохматыми микрофонами, тонконогих девушек с планшетами, юрких фотографов, снующих в поисках выгодных ракурсов, радийцев, за которыми тянулись хвосты проводов.

Журналисты плотным почтительным кольцом окружили вождя партии. Лицо коммунистического лидера поражало удивительным сочетанием здоровой румяности на холёных щеках и мертвенного, могильного холода в крупных, чуть на выкате, стеклянных глазах. Его высокая, грузно-номенклатурная фигура уверенно возвышалась над журналисткой мелочью. Энергично жестикулируя правой рукой, лидер затверженными, дубовыми лозунгами вещал о всесильности дела Ленина, о великих свершениях советского народа, о партии, которой по плечу взять власть в стране. Тёплый пар маленьким облачком витал у губ оратора.

За спиной у председателя скромно ютились несколько высокопоставленных соратников – в одинаковых алых куртках, с искусственными гвоздиками, приколотыми на лацканы, с партийными флажками в руках. Лица депутатов, розовые от хорошего питания, светились довольством от деловитого

внимания журналистов. Видно было, что партийцы хорошо устроены, что жизнь их удалась, что они вписаны в нынешнюю непростую картину мира в отличие от обездоленного плебса, чьи интересы представляли в парламенте.

Горелов и раньше не заблуждался на счёт комлидеров и их борьбы за «народное счастье», но сегодня (от холода, что ли?! или от того, что М. его кинул?) у него было как-то особенно гадко на душе. Партийные клоуны играли свои роли из рук вон плохо, они пренебрегали даже гримом и костюмом, считая, что для быдла и так сойдёт. И ведь сходило! Убогая самодеятельность уровня сельского клуба на выезде, и – ничего!.. Так кто виноват? Бездарные актёры или нетребовательная публика, которая питала партийных упырей остатками жизненной энергии?! Образ из фантастического фильма мелькнул и пропал в сознании: комлидеры, подключённые к установке по перекачке крови из электората – чахлах старушек, роющихся в мусорках в поисках стеклотары, политизированных дедов, вздыхающих об умерших производствах, худосочных интеллигентов-идеалистов, всё ещё бредящих мечтой о светлом будущем человечества... «Бр-р-р!» – Горелов повёл плечами, прогоняя фантазмагорический морок.

Особенный диссонанс с хмурой толпой вызывала соратница вождя в ярко-оранжевой кожаной куртке с роскошным лисьим воротником. Голубые джинсы плотно обтягивали увядающую партийную плоть. («Во! – поразился Горелов. – Вы ж против джинсов боролись, как символа растленного

Запада!») Стареющая красотка бралась руководить колонной, раздавая указания рыхлым мальчикам с чиновничьими лицами. В молодых людях проглядывало что-то неприятное, фальшиво-покорное. Помощники, как понял Горелов, отвечали за речёвки, транспаранты и автомобиль, с которого будут транслировать советские песни.

Толпа журналистов закончила интервьюировать вождя и теперь кучковалась возле нового объекта. Пожилой мужчина в старой коричневой шинели с полковничьими погонями раскачивал на высоком древке красно-кирпичный стяг, полотнище металось в свинцовом небе, пересекаясь с яркой рекламой «Пепси» на видеоэкране, с треугольным значком «Мерседеса», с телефоном «Нокиа», пляшущим так и эдак на панели, и демонстрирующим все прелести лёгкого общения. Фотографы сновали вокруг старика, снимали его в фас, в профиль, со спины, чуть ли не с асфальта – таких ярких типажей, энтузиастов борьбы, «уходящих натур» развитого социализма, почти не осталось в природе!.. Вокруг – только чёрная угрюмая толпа, люди из гетто, всё ещё упорствующие в своих убеждениях.

«Но верны ли убеждения? – подумал Горелов. – Дело не в том, что они, эти несчастные люди, побеждены. Это ничего, бывает в истории. Но вдруг, – мысль поразила его, – но вдруг вся эта коммунистическая затея была глупостью от начала до конца, банальной мировоззренческой „разводкой“, и ничем другим, как маршем зомби, дело кончиться не могло?!»

Торжественная дробь барабанов, громкая музыка оркестра сбили Горелова с размышлений. Жизнелюбивый советский марш заставил взбодриться, подтянуться. Молодые люди с чиновничьими лицами по команде развернули огромный баннер-растяжку с лозунгом «Вся власть – народу!» (на красном фоне – метровые белые буквы), в толпе заалели флаги, и центральная картинка мгновенно преобразилась, она получалась грозной, внушительной – вот, мол, мы политическая сила какая, мы ещё ого-го!..

Телевизионщики вовсю снимали праздник мнимого непослушания, и Горелов подумал, что так, пожалуй, и он попадёт в кадр. Он ускорил шаг и оказался впереди колонны, которая, наконец, медленно тронулась с площади. В авангарде, намного опережая демонстрантов, брели журналисты (Горелов прибился к ним) вперемежку с милицией. Рация у полковника постоянно бубнила. Горелов разобрал чёткую фразу: «Удальцов вышел из метро, прошел рамки металлоискателей».

Шествие двигалось вниз, по Тверской. На проезжей части для демонстрантов было выгорожено метров десять, да плюс тротуары, и в этом коридоре – Горелов оглянулся – медленно шла под музыку духового оркестра чёрно-красная толпа с реющими флагами.

«Как на похоронах!..» – грустно подумал Горелов. Впереди призывно и мягко светила рубиновая звезда на Кремлёвской башне. Процессия шла навстречу потоку иномарок,

был час пик, машины ехали неспешно. Некоторые водители бибикали демонстрантам. Что было в этих сигналах? Сочувствие, поддержка, солидарность?! Или – презрение победителей к побеждённому поколению: инженерам уничтоженных заводов, офицерам разгромленной армии, бывшим райкомовцам, комсоргам и стройотрядовцам?..

Люди, шагающие по богатой улице, увешанной рекламой дорогих товаров, казались прибывшими с другой планеты. Они меряли землю усталыми, натруженными ногами в разбитой немодной обуви, а навстречу им катили иномарки – такие удобные, комфортные металлические коробочки с гламурными девочками, деловыми мальчиками, с респектабельными бизнесменами, чиновниками – мелкими сошками (крупные ездили со спецсигналами). Горелов ещё раз оглянулся на чёрно-красный ручеек коммунистической колонны, струящейся вдоль домов.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» – радостно выдувал мелодию оркестр, ударяя в литавры и барабаны.

«И в жёлтых окнах рассмеются, что этих нищих провели», – почему-то всплыло в памяти Горелова. «Сверхчеловеки, едрёна корень! Развели вас, как лохов!..» – Волна раздражения, обиды и жалости накрыла его.

«...Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор!» – спорил с ним оптимистический марш, вызывая в памяти образы «сверхчеловеков» – женщин с веслом, со снопом, с лопатой; мускулистых парней («бело-

курых бестий»), которые перековывали мечи на орала; триады «новых людей» на мозаичных панно и гигантских плакатах – интеллигент с колбой, сельская девушка в красной косынке с кроликом в руках, могучий рабочий-сталевар в комбинезоне. Какая жизнь была, какие типы!.. Но «Бог умер» только на пространстве СССР. На остальной планете, и даже во Вселенной он был жив... увы... увы...

«Всё выше, и выше, и выше, стремим мы полёт наших птиц...» – врывалась в сознание Горелова бодряя музыка социалистической юности демонстрантов. «Но это же игра, – вдруг подумал он. – Игра – в политику, игра – в коммунистическую идею. Всё провалилось, ничего не будет. А когда играют старики – это страшно. Это – безумие!..»

Дошли до бывшего здания Моссовета (ныне мэрия). На капителях колонн остались звёзды – напоминание о былых временах. Горелов всматривался в окна – не шевельнётся ли там шторка, не выглянет ли кто из чиновничьего люда на улицу, ну хотя бы из любопытства?! Но здание было спокойным и сонным.

Горелов миновал площадь, остановился на тротуаре, пропуская шествие. Мимо шли демонстранты, держа в слабых руках портреты Ленина, Сталина и почему-то Молотова.

«Нет, не получилось из советского народа новых христиан, – подумал Горелов. – Потому что важен не только подвиг, но и то, во имя чего ты его совершаешь. Боги не должны умирать... Зачем же руководители человечества лишают

людей веры? Лишают бессмертия души? То есть лишают самой души – психической энергии? И на что они направят эту психическую энергию, отнятую у других?»

Горелов оглянулся: за спиной у него была богато декорированная витрина – на золотой пирамиде медленно вращался огромный знак доллара, сверху, из рога изобилия сыпались виртуальные золотые монеты, парили мастерки «вольных каменщиков», открытый циркуль, серебряные перчатки с растопыренными пальцами. Бог возвращался на эту, временно оставленную им землю, а здесь уже сражались новые идолы, тесня старых!..

«Революция будет красной!», «Революция будет красной!» – скандировала небольшая – человек в тридцать – группа сторонников Левого фронта. Горелов узнал Удальцова – он прошел рядом с ним, энергично маша рукой, словно помогая себе кричать, жила на его аскетичном виске вздулась. Лидер протестных акций потускнел, стал суше и жёстче.

Постарела и команда левых – с тех пор, как Горелов не видел «фронтовиков», вот, даже полулусый мужик у них появился... Так это же... М.! Взгляды их встретились, и Горелов не успел надеть маску приличия на лицо.

Видимо, изумление так явно отпечаталось на его физиономии, что даже циника М. оно проняло – чиновник не стал прикидываться, будто не узнал Горелова, шагнул на тротуар из толпы и, как ни в чём не бывало, протянул ему руку:

– Привет! Ну, видишь, мы встретились, я же обещал.

Горелов промычал что-то невнятное.

– Пошли в Думу, попьём кофейку, погреемся. – М. вел себя как хозяин.

Горелов, внутренне потрясённый, безмолвно покорился.

Они свернули в арку, в Георгиевский переулок.

М. счел нужным объяснить:

– Чтобы понимать настрой общества, надо жить одной жизнью с народом – ездить с ним в метро, ходить на демонстрации. Тогда не нужны никакие социологи, опросы, расклад яснее ясного.

Они миновали думские кордоны (у Горелова ещё действовал пропуск со старой работы), оставили одежду в гардеробе, спустились в подвал, в нижний буфет. Здесь у столиков роился народ, пахло крепким кофе, тут и там слышался смех. «Жить одной жизнью с народом» – эта фраза М. застряла у Горелова в голове, и он никак не мог сдвинуть её с места, пропихнуть дальше.

– Присоединяйтесь! – радостно рявкнул над ухом знакомый голос.

Костя, криминальный репортёр из «Совершенно секретно», был всегда небрит и немножко пьян.

Горелов беспомощно оглянулся на М.: как быть? Тот и бровью не повёл, а Костя на условности этикета вообще не обращал внимания. Он тоже зашёл в Думу погреться («ну и денёк! ну и погодка, а?»), кипел негодованием – ходил в

СИЗО по «Болотному делу», общался с арестантами.

«Наша власть, это же уроды, – репортёр фамильярно хлопал Горелова по плечу и заговорщицки подмигивал М., – нахватили каких-то людей случайных, они совершенно не в теме, косога на оба глаза мужика замели. Как он мог в ОМОН чего-то кинуть и, тем более, попасть?! Даже если б и захотел?! Рэволюционеры и охренители!.. Ха-ха-ха».

– А вы верите в демократию? – криво улыбаясь, спросил М.

Журналист ухмыльнулся:

– Я верю, что в России всегда будет бардак и хаос. Это наш ответ постмодерну... Ладно, ребята, пока. – В буфет заглянул известный депутат, и Костя сразу их бросил, прицепился к пиджаку, плотно взяв номенклатуру за локоток. Горелов позавидовал репортёру – ну и хватка у парня!

От переживаний сегодняшнего дня он чувствовал себя опустошённым, измотанным.

М. сделал маленький глоток кофе, аккуратно поставил чашечку на блюде.

– Послушайте, Горелов, – деловито сказал он. – Вы – человек любознательный, мобильный, у вас неординарные знакомые (видимо, он имел в виду Костю). У меня для вас есть хорошее местечко. Пойдёте помощником к одному видному коммунисту?

– Что я должен буду делать? – напрягся Горелов.

– То, что скажет. О зарплате не переживайте, не обидим.

У вас ведь ипотека, кредит...

«Я ему вроде не говорил, – внутренне удивился Горелов. – Хотя... Это же открытая информация, её можно получить за пять минут».

– Но я не состою ни в какой партии. – Интуиция подсказывала Горелову, что глотать крючок сразу – непрофессионально.

М. усмехнулся:

– Партии, убеждения... Это всего лишь одежды, понимаете?! Сегодня вы носите спортивный костюм, поскольку идёте на гольф, завтра – ватник и кирзачи, потому что время отправляться на лесоповал.

Горелов вспомнил черную унылую толпу коммунистов, в которой только что шел.

– Я не согласен, – сказал он мрачно. – Я могу сравнить убеждения с кожей, которую, чтобы сменить, надо содрать с человека... Но убеждения – это не одежда и не мода.

Горелов чувствовал себя ужасно – ему нужна была работа, по правде сказать, любая, и надо было соглашаться, не ломаться, но то ли его напрягло то, что М. так бесстыдно кинул его на площади, то ли ещё что, но он понял, что сейчас он «закусит удила» и что его «понесёт».

М. будто читал мысли:

– Понимаете, я пришел на площадь и подумал, что моё предложение будет для вас некомфортным... Ну а потом, когда я вас увидел на тротуаре с таким-м-м трагическим лицом

рядом с роскошной витриной буржуазной жизни, то решил, что неправ – сама судьба сводит нас.

«До чего ж вы стерильные, гады!» – разъярился Горелов. А вслух сказал:

– Стучать на коммуняк? Контролировать их мозговые центры? А поприличней у вас ничего нет?

М. целомудренно опустил глаза:

– Ну зачем грубить?! Вы же патриот, Горелов. Государственник. Вы же, не побоюсь этого слова, человек идейный, в высшие силы веруете...

«Может, вы и меню моего вчерашнего ужина назовёте?» – мысленно ахнул Горелов.

– ...я вам ничего не навязываю, заметьте, – монотонно бубнил М., – есть работа – есть зарплата. Вы ко мне обратились, я подумал, где вы можете быть полезны со своей (не обижайтесь только!) не очень высокой квалификацией и сомнительным образованием. Но у любого человека есть то, что можно продать...

– ...ага, почки, печень...

М. ядовито улыбнулся:

– Ну да. А у вас есть душа, убеждения, честь. Ну и продайте их, если печень и почки вам дороже. Я вам гарантирую, – он кротко взглянул в глаза Горелову, – вы никакой работы в ближайшее время не найдёте.

«Связался с идиотом». – Горелов всё ещё не верил холодку дурного предчувствия и пытался свести этот разговор к

досадной шутке, недоразумению.

– Послушайте, ну будьте же честны хотя бы перед собой, – вкрадчиво выговорил М.

Наступила пауза. Горелов угрюмо глядел на коричневое дно кофейной чашки. Он вдруг почувствовал, что буфет пуст, что они здесь с М. одни.

«Лучше б я с коммунистами пошел поклоняться их богу, Карлу Марксу, что ли!.. – с отчаянием подумал Горелов. – Стоял бы сейчас, пел „Интернационал“ ... Или „Смело, товарищи, в ногу...“ Или ещё что...» Да, впрочем, М. был в этой же толпе, он бы его и там выцепил!

Целый рой мыслей и воспоминаний вдруг закружил его, он был одновременно и в далёком прошлом своей жизни, и во вчера, и в раннем детстве, и в зрелости, и всё это будто спрессовалось в крошечный разноцветный кубик, где каждая точка при приближении увеличивалась, росла и превращалась в событие, ощущение или переживание, и всего этого добра у него было много, и жаль было до слёз всё это оставлять, бросать; потому что Горелов с ужасом понял, сколько он не успел, сколько времени бездарно потратил, сколько мог бы сделать, совершить... Он будто несся на смертельном болиде к финалу, к бездне, и эти головокружительные секунды росли, превращаясь в чудовищные внутренние качели. И повод, который вверг его в этот ужас, казался теперь смехотворным, невероятно глупым!

«Да ведь 99 процентов людей погибают не менее глупо», –

с холодным мужеством подсказал ему разум.

Ах, да, он же может «посотрудничать» с М.!.. Но этот «выход», услужливо подсунутый подсознанием, не принёс облегчения. Согласиться он не мог – Горелов это знал точно. Вот непонятно даже почему! Это всё равно, если бы ему предложили сейчас пить кровь христианских младенцев или ещё какую жуть! Хотя до коммунистов ему не было, если честно, никакого дела. Он был, как он сегодня понял, даже против них. (Хотя и не разобрался – почему.) Но стучать на них – не мог!

А как же Люся?..

И мысль его перенеслась к единственному его сокровищу, его любви. Он будто видел укоризненный, озабоченный взгляд Люси, слышал её хриловатый, низкий голос, который начинал сбиваться, истончаться, когда она говорила ему нежности, чувствовал приятную прохладу её маленькой руки – она любила рукопожатие и смеялась, испытывая его силу.

И вдруг ледяной, тёмный лабиринт, по которому металось его сознание, стал светлеть, мысль, летавшая с ужасной быстротой, тормозить, оравнодушиваться и грубеть. «Ну а если я не соглашусь, что будет? – Горелов, взмокнув от перенесённого душевного слома, думал теперь лапидарно и практически. – Ну, что, на куски он меня разрежет прямо в Госдуме? Испепелит? Парализует? Бред какой-то!»

Горелов медленно поднял голову.

– Ребятки, мы закрываемся, – ласковый голос буфетчицы вывел его из транса.

Он стоял за столиком один. М. и след простыл.

Горелов, шаркая и загребая (мышцы ног у него ныли, будто он прошел пешком километров тридцать), двинулся в гардероб.

Уходя, он глянул в зеркало и не сразу себя узнал: вместо улыбчивого кареглазого брюнета на него смотрел сумрачный пепельный блондин.

Чувство юмора тотчас вернулось к нему.

– Что, сходил на собеседование, дурак? – подмигнул Горелов унылому отражению.

Он скорчил забавную гримасу и счастливо расхохотался.

В гостях у «золотого миллиарда»

После суда над фашизмом Варвара Парамоновна вышла из школы с гудящей головой. Давно замечено: чем меньше педагогам платят, тем больше у них энтузиазма. Вон, вчера во вторых классах ставили мюзикл «Кошкин дом», сегодня десятиклассники три часа Гитлера прессовали.

Короткий день уже сменился серыми сумерками, и особенно мрачно в жалком освещении редких фонарей смотрелся облупленный фасад кипрянского «дворца знаний». Школа была приговорена к закрытию, и, казалось, что старые стены чувствуют обреченность и уже смирились со своей незавидной судьбой.

– Чтоб ещё придумать, как изощриться, чтоб нас не выгнали, не оптимизировали?! – задумчиво-отчаянно выговорила Варвара Парамоновна.

– Всё равно закроют, ничто не спасёт – ни фашизм, ни холокост, – меланхолично откликнулась коллега-филолог Жанна Альбертовна.

Варвара вздохнула, покосившись на ухоженную словесницу – ей-то, понятно, всё по барабану, у неё муж обеспеченный, прокормит, если что, она и на работу ходит, чтоб тряпки от моли пронашивать. А тут считаешь каждую копейку...

Но Жанну неожиданно понесло:

– А давай бросим всё, в Москву махнём!..

Варвара аж споткнулась на ровном месте, захохла:

– Я не могу, папа на мне, один живёт, он как малый ребёнок, два раза в день звоню, убирать и готовить ежу. А тебе зачем Москва? Ты ж там не выдержишь, столичных нагрузок не сдюжишь!

– Проживу! – жестко рубанула Жанна и скорбно поджала розовые губки. – Мне супругник ещё и доплатит, лишь бы я тут не болталась!

– А чего ж ты киснешь в нашем болоте? – ахнула Варвара.

– Боюсь, назад возврата не будет. У него в соседнем с тобой доме любовница молодая...

– ...да ты что?!

– Представь себе!.. И я за этой селёдкой ржавой надзираю, чтобы она моего кота мартовского (он и по гороскопу Кот, и родился в марте – всё сходится!) не перетянула.

– Кто она? Не Люсьена ли из налоговой? – Варвара быстро перебрала соседей и сразу вышла на подходящую кандидатуру – одинокую долговязую брюнетку из «однушки» на первом этаже.

– Она! – с горькой ненавистью выговорила Жанна и разразилась таким страстным монологом, что и судьи Гитлера позавидовали бы.

«Однако... – осмысливала Варвара обнажившийся любовный треугольник, – что с богатыми деется!.. На чувства от безделья потянуло. Лёгкие деньги – питательная среда для пороков».

Дома Варвара поужинала, включила телевизор. Репортёр вещал про забавы «золотого миллиарда» – кто яхту купил, кто клуб футбольный, а кто и манекенщицу импортную на Рублёвку завёз.

И тут затренькал мобильный. Звонил папа. Варвара еле разобрала слабый голос: мол, всё, кранты, «скорую» сам вызвал. «Помираю, не знаю, доживу ли до утра!..»

– Жди меня, на такси приеду!..

«На два дня оставила, и вот результат, – негодовала Варвара. Машина тряско везла её по пустынным кипрянским колдобинам – тут яма, там „лежачий полицейский“. – Что за люди дикие!.. Ну померяй ты давление, таблетку выпей. Сам видишь, что медицина вся угроблена, они к старым людям и не едут – им чем меньше народа, тем лучше, хоть вы все перемерите! Нет, „лекарства – это яд!..“. А если тебя парализует, что я с тобой делать буду?!»

За десять минут, пока угрюмый таксист вез Варвару с одной окраины на другую, в частный сектор, в её воображении нарисовалось несколько страшных картин возможного развития папиного нездоровья. Некстати полезло в голову и трагикомическое: у кумы Полины свёкра разбил инсульт. Кума его выходила, он уже и по двору кое-как дрыбает. Полина рассказывала: «Я ему говорю: „Папа, вы не вздумайте помирать! Мы на вашу инвалидную пенсию кормимся“. А он: „Ой, дочка, буду стараться, тянуться!“ Молодец, вылез. А то хоть самим в гроб ложись – работы, сама знаешь, никакой».

(После закрытия фельдшерского пункта кума сидела дома и жила натуральным хозяйством.)

Варвара подъехала, когда «скорая», библикая, вырулила от отцовской хаты. Папа лежал на диванчике после укола с совершенно погасшим лицом. Видя такой печальный расклад, Варвара даже не стала его запугивать опасностью небрежения к лекарствам – было ясно, что дело плохо.

Чтобы как-то заглушить тревогу и никудашнее, если не сказать, отвратительное, настроение, Варвара взялась за уборку. Мелкие, суетливые движения отвлекали её от неприглядной правды жизни. Подмела полы, пыль вытерла, салфетки расправила, подушки на кровати в горнице взбодрила, подзор оправила. Двинулась на кухню, тут и Барсик объявился, она ему каши овсяной в плошку – на, ешь. А он морщится, башкой крутит – до чего же нравный кот, прямо дворянин!.. Ну и ладно, иди отсюда, не голодный, значит.

Отец вроде оклемался, сел на диванчике. Голос подал:

– Весной огород дальний обязательно пахать надо...

– Какой тебе огород! – взвилась Варвара. – Только с того света вернулся! Кто эти плантации обрабатывать будет?!

– А земля пустует?! Это ж непорядок...

Началась привычная распря. Но спор шел вяло – отец был вымотан перенесенным потрясением, а дочь, чтоб не разволновать, перечила без обычного жара.

И тут Варвара услышала стон. Так кричат брошенные дети. Или это ветер воеет за окном? А может, коты дерутся? Или

почудился ей этот звук? Но через минуту стон повторился. Встревоженная Варвара открыла дверь в коридор, и теперь ясно разобрала слабый кошачий вой с чердака.

– Пап, Барсик на горищах, слезть не может!..

– А я что ж? Снимать его буду?! – слабо хихикнул отец. – Во, дожили! Коты потеряли цепкость. Пропал мир!..

Пока отец сокрушался о судьбах погубленной прогрессом кошачьей популяции, Варвара двинулась по лестнице в темный зев чердачного отверстия. Барсик слабо упирался, когда она тащила его вниз. Бедняга весь дрожал, шерсть на загривке вздыбилась.

Варвара занесла кота в хату и поразилась произошедшей в нём перемене: несчастное животное скрючилось и даже уменьшилось в росте. Барсик слабо стонал. «Отравился! – сразу поняла Варвара. – Хватил где-то крысиного яда!»

– Да что же это за день такой! – Она пришла в отчаяние. – Ни на минуту вас оставить нельзя, сразу падёж начинается! Кот – негожий, ты – негожий! Придётся опять такси вызывать, везти к ветеринару. Поддыхает на глазах!..

Папа подозрительно пристально посмотрел на Варвару. Но ей недосуг было разбираться в оттенках родительских чувств: надо спасать Барсика! За окном тёмная ночь, посему к ветеринару ехать бессмысленно.

Варвара натолкла в чашке активированного угля, разболтала водой, закачала раствор в резиновую грушу. Теперь предстояло самое трудное – заставить проглотить лекарство.

Всунула наконечник в кошачью пасть и начала медленно вводить жидкость. Барсик, как ни странно, не сопротивлялся – то ли понял, что дела его швах, то ли у него не осталось сил на борьбу с медицинским насилием.

Наконец операция по обеззараживанию закончилась. Кот бессильно пал у её ног. Но Варвара понимала недостаточность своей реанимации:

– Попробовать покормить, что ли?

Схватила на руки, понесла к плошке с кашей. Против ожиданий, кот взбодрился и откушал с большим энтузиазмом. Он даже попросил добавки! «Хватит! – здраво рассудила Варвара. – А то будет заворот кишок». Она ликовала: оздоровление благородного животного вполне удалось.

И вот настал миг семейной идиллии: дочь и папа сидят в старых креслицах, а между ними на полочке калачиком свернулся многострадальный кот. Глаза прикрыл, хвостом огородился. Телевизор тем временем толковал про тандем, преемника и альтернативу.

Варвара умиротворилась, а всё ж для профилактики отцовского мировосприятия завела привычную пластинку, что вот, де, если бы не её присмотр, то и папа, и кот давно были бы в иных мирах.

Папа всё выслушал смиренно, тихо вздыхая. Потом ехидно прищурился:

– Вот я гляжу на тебя, Варвара, ты всё с этим котом колготишься. А зачем? Это ж не наш кот.

– Как не наш? – опешила Варвара. (Ужасная мысль тотчас озарила её сознание: совсем папа сдал, вот уже и разумом путается.)

– А так, – рассудительно продолжил папа, – у нашего кота расцветка тигровее, полос больше на боках. И морда умная.

– Морда умная! – передразнила Варвара папу. – Тут любую морду от голода и от отравления потеряешь. Он же весь трясся, он – больной! А ты от него отрекаешься, – укорила Варвара папу.

– Да ничего я не отрекаюсь, – обиделся папа. – Я, если хочешь знать, без нашего Барсика жить не могу! Он меня лечит от тоски – на грудь ложится, на живот. Знаешь, как одному тяжело?! Но я тебе авторитетно заявляю: это не наш кот.

– А кто ж это тогда? – скептически спросила Варвара. – Приемник, что ли?

Папа спорить не стал, только рукой махнул: что с тебя, умной, взять!..

Варвара несказанно опечалилась: вот что старость с людьми делает – домашнего кота человек не признает. Того и гляди – она невесело усмехнулась – приедешь, а он у дочери родной спросит: «Ты кто?»

Горестные размышления прервал телефонный звонок.

– Что с папой? Как он? – Это сестра Василиса объявилась. Варвара коротко доложила обстановку: мол, и папу отходила, и кота, а то было совсем худо.

Василиса пустилась в философствования:

– И за то слава богу – восемьдесят пять лет, а человек себя обслуживает. Между прочим, если ты в таком возрасте сам передвигаешься и в памяти, да ещё кот при тебе, значит, ты вошел в «золотой миллиард».

– Чё? Какой такой «золотой миллиард»? – возмутилась Варвара.

Но несерьезная (в папу) Василиска хихикнула и подтвердила – да, мол, папа в элите человечества, а вот как у них с сестрой дела пойдут – это ещё вопрос.

Закончив бестолковый разговор, Варвара вспомнила, что не закрыла ворота на чепок. Неохота идти, а надо – ворья да лихого люда вокруг беззащитного «золотого миллиарда» полно.

Вышла на крыльцо и опешила: в круге света сидел Барсик!

Варвара схватила его на руки, вбежала в горницу.

– Папа! – вскричала она, показывая на кота, лежащего на половике. – А это – кто?!

Папа тонко, залиvisto хихикал, вытирая слёзы и приговаривая: «К ветеринару хотела везти... кота приبلудного... лекарствами поила... ой, не могу!...»

Уязвленная Варвара тоже начала смеяться. А коты, увидав друг друга, подобрались, зарычали. Они и впрямь были похожи как братья – оба нежной, серо-дымчатой масти, только Барсик побольше и действительно «тигровой» – полоски на боках у него шли чаще. Зато у приبلудного шерсть

была гуще и пушилась.

– Как же он на чердак попал? – недоумевала Варвара. – Сколько он там, интересно, просидел? И куда нам девать этого «преемника»?!

Барсик презрительно смотрел на хозяев: он был в шоке от появления на его законном месте безродного пришельца.

– Ты когда приедешь? – звонил через день отец Варваре. – Коты меня разоряют, я не могу их содержать! Всю колбасу из холодильника отдал им. Приезжай, корми своего, я за него не отвечаю! Он теперь на пороге сидит, никуда не уходит.

Варвара повесила трубку, начала собираться.

Опять звонок! Жанна на проводе:

– Выйди, пожалуйста, глянь, стоит у соседнего дома серебристое авто с номером 169 УК? Куда моего супруга на ночь понесло, на какую такую «линию», где якобы «обрыв»? Пойди посмотри, он уже должен доехать к ней.

– А если и тут, что ты делать будешь?!

– Не переживай, придумаю. Я ему устрою Куршавель, мало не покажется!..

«Да уж, – думала Варвара, спускаясь по лестнице. – На одну семью – два кота. На две семьи – один мужик...»

Путь стрелы

Зима удалась – снег был везде, белый, свежий. Его вывозили грузовиками, топили в специальных печах, выгребали с улиц скреперами, а он всё равно падал – ровно и нежно. Метели были длинные, мелодичные, иногда в них наступал желанный – для дворников и автомобилистов – перерыв, казалось, что всё – снег на небе закончился, но потом накатывала особая, бездонно-безвременная пора, солнце слабым серебром просвечивало сквозь серую завесу, и снова, закрывая белый свет, деловито летели мелкие бессчетные снежины. Снега было так много, что лыжники, истосковавшись по нему в предыдущие голые и тёплые зимы, теперь не успевали торить лыжню в парках – это был настоящий снежный потоп.

Продавцы мехов и шуб ликовали – товар наконец-то пошел нарасхват. В моду сразу вошли валенки и угги – финские сапоги из овчины. Крепкие ночные морозы и стлывые зимние дни заставили вспомнить здоровую домашнюю пищу – пельмени, борщи с чесноком, квашеную капусту, отварную картошку, тонко нарезанное сало с розовыми прожилками... Зима возвращала к прежней, почти что позабытой русской жизни – сосредоточенно-трудоной и ответственной.

Так миновал январь, наступил февраль. Ваня стоял в храме, в плотной толпе верующих, хор пел положенное по службе, слова сливались в торжественный и грустный плач. От

дверей, которые то и дело раскрывались, впуская и выпуская народ, тянуло зябкой стужей, так что между лопатками у Вани стало неуютно-мурно. Он потихоньку стал продвигаться в глубь храма, вправо от дверей; здесь, у старой тёмной иконы, дружно горели свечи, и ему стало тепло и уютно. Народ стоял плотно, даже перекреститься можно было с трудом; Ваня сначала смотрел на опущенные затылки и платочки, а после – вверх, на роспись свода, где художник в тёмно-зелённой гамме с примесью коричневого цвета изобразил св. Иоакима. Дальше виднелся растительно-цветочный орнамент, архангел Гавриил со сложенными крыльями за плечами, надпись на старославянском «серафимы», другие изображения горних сил.

Хор пел, Ваня думал – душа его была стеснена и смущена. Душа тихо металась: он думал о том, что из тысяч и миллионов людей для поклонения избираются единицы, вот, вроде св. Иоакима. Он думал, как неистребимо желание человека верить – подниматься над телесной и животной природой, искать истину, стремиться к прекрасному и сохранять его.

«А вдруг Бога нет? – в очередной раз ужаснулся он. – Вдруг это просто красивая легенда, утешительная сказка?» Эти мысли иногда посещали его, и в такие минуты он пугался, что потеряет веру и что его «духовный дом», выстроенный долгими раздумьями и оплаченный жизненными потерями, в одночасье рухнет.

Но потом он подумал, что все эти метания – лишь ко-

кетство мысли: в храме было так тесно, так по-человечески дружно, что, казалось, для этой мощной совокупной силы нет ничего невозможного. Бог жил – высокий, непостижимый и неизведанный идеал. Человек искал благодати, это чувство давала только вера, сопричастность неземному и неизведанному, и потому человек упрямо, через сомнения, шел в храм.

Хор пел...

В короткой проповеди священник (Ваня его не видел за колонной) густым и бодрым голосом призвал собравшихся не пытаться постигнуть и объяснить Бога. «Надо просто верить. А то бывает, что демоны на человека набрасываются и всё идёт прахом – слаба наша природа».

Ваня вышел из храма навстречу летящей карусели снега. За оградой стояли три хорошо укутанные в тёплые одежды и платки тётки с пластиковыми судками для сбора подаяния. Ваня, погруженный в свои мысли, почти миновал их, но после вернулся, бросил мелочь. Тётки обрадованно загалдели. Ваня двинулся дальше, и взгляд его скользнул по афише с изображением М-ва, известного певца-гомосексуалиста. Рыжая бестия плотоядно, по-лягушачьи, улыбалась, призывая на «шоу». Ваня запнулся у столба с объявлением, потом подошёл ближе, ковырнул афишу, дёрнул, отрывая длинный лоскут. Ещё пара движений, и мерзкая рожа исчезла со столба. Ваня поискал урну и подчёркнуто аккуратно опустил в неё скомканную бумагу.

«Вот интересно, – размышлял Ваня, – верно ли я поступил с точки зрения образцового христианина? Конечно, нет. Следовало бы не срывать афишу, а помолиться за спасение сей заблудшей души. Хорошо, что у нас много „неправильных“ верующих». – Ваня усмехнулся. Он поискал взглядом другие объявления – продюсеры не поскупились на рекламу. Утешало то, что некоторые афиши уже были изуродованы непристойными надписями или изорваны.

Дома Ваня пил чай, слушал радио и смотрел в окно. Опять началась метель, и что-то романтически-возвышенное было в этом бесконечном перемещении снежных частиц в зимней вселенной, и нечто уютно-счастливое он ощущал в неспешных минутах заоконного созерцания, когда вспоминалась прошлая жизнь, минувшие времена, редкие, красочные минуты ликования, восторга... («Восторг любви нас ждёт с тобою, не уходи, не уходи», – даже это всплыло и благородным баритоном пропелось в его памяти.) Сорокалетний Ваня, крепкий в плечах, с жилистыми руками, перевитыми усталыми венами, с сединой в потерявших блеск волосах, вдруг понял, что в душе он так и остался восторженным юношей, и это внезапное открытие обескуражило его. Он не знал – радоваться ли ему, грустить? Молодость души – свойство неиспорченной природы, а может, свидетельство его инфантильности, незрелости?

Ваня сел спиной к окну, обхватил руками горячую чашку. Он вспомнил, сколько им всего упущено в жизни, сколь-

ко сделано не так, как следовало бы, и тут же, чтобы не погружаться в самоедство, в «анализ», прибавил громкость радиоприёмника.

Передача его сразу заинтересовала, переключила на новые думы. Ведущий беседовал с неким профессором Чудаковым, который торопясь, будто его должны были вот-вот распять, с завываниями, всхлипами и трагическими возвышениями голоса рассуждал о глобалистике. Якобы есть такая наука, весьма полезная человечеству и он, Чудаков, её апологет. Мировое правительство необходимо, оно есть ответ на вызов времени. «Человек проходит несколько стадий развития... У маленького ребенка отняли игрушку – для него это кошмар, трагедия. У взрослого – иные проблемы... Человечество миновало период детства, когда пребывало в диком состоянии, потом настала эпоха осмысления региональных проблем – в классической Греции и Риме, а во времена великих географических открытий люди осознали, что земля – это шар, так наступила юность земной истории... Мы стремительно приближаемся к цели...»

Ваня представил стрелу, которая, как в сильно замедленной съемке, чуть покачивая длинным телом и подрагивая опереньем, летит к пёстрой, чёрно-белой мишени. Из-за того, что воображение нарисовало ему это движение неспешно, он не мог оценить силу полёта... Ваня качнул головой, стряхивая морок. Чудаков всё вещал, торопливо возвышая голос, когда ведущий пытался вклиниться в беседу.

«Мы стремительно приближаемся к цели, к старости человечества», – подумал Ваня, выключая радио. Он, может быть, яснее других понимал этот путь – Ваня работал программистом и каждый день умножал иной мир, который открывался в цифровых пространствах Сети. Там, в Зазеркалье, множились и саморазвивались обманные вселенные, и десятки тысяч первопроходцев виртуальной жизни уже тихо закончили свой путь, навсегда заблудившись в лабиринтах придуманных цивилизаций.

Ваня увлекался, работая с информацией, – он чувствовал себя как рыба в воде, ныряя в пространства виртуальных заморочек. И всё же иногда на него наваливалась необъяснимая грусть, почти хандра, так, что требовались большие усилия, чтобы вернуть спокойствие и деловитость. Последняя такая замять его закружила вчера – он почти не спал ночь, и утром, благо был выходной, после некоторых раздумий двинулся в церковь.

Религия – тоже, в общем-то, если рассуждать обыденно, есть виртуальная и придуманная реальность. Но она строилась «вручную», без участия цифры, возводилась веками и тысячелетиями с помощью избранных, вроде св. Иоакима. К тому же, представлялось Ване, «небесный град» возвышался над землёй, устремляясь в космос, а мировая паутина виделась ему неким «подвалом», шахтами-каменоломнями (чуть ли не урановыми рудниками), «нижним» миром, поглощающим человеческие жизни... Настоящий мегаполис был там –

в кружении «виртуальных душ», в перемещении по интернетовским супермаркетам и квартирам. Нижний мир мгновенно соединял людей из разных точек планеты, оглушал шумом медиа, поражал обилием досуга – от постановки виртуальной свечи перед цифровой иконой до погружения в разврат, красочный, утончённый. Там происходили мгновенные знакомства, назначались свидания, заводились друзья; там искривлялось пространство и время, там проходила его жизнь, и Ваня временами забывал, что это – всего лишь суррогат, обман...

Вчера он наткнулся в Сети на любительское видео, которое вышибло его из колеи. Ролик был самого примитивного свойства: камера захватывала интерьер «советской» кухни (в хрущёвке или в малосемейке), на заднем плане виднелось мусорное ведро, на стене висел металлический дуршлаг, с другой стороны пространство было ограничено дверцей холодильника с прикреплёнными на ней магнитами. Через несколько секунд в кадре появился парень в красной футболке, в синих тренировочных штанах и в комнатных тапках на босу ногу, с баяном в руках. Он торопливо устроился на стуле и глухо объявил: «Прощание с родиной, полонез Огинского на кухне».

Музыка зазвучала без всяких пауз. Ваня потом пять или шесть раз просмотрел это видео, выложенное почти год назад двадцатилетним жителем города Королёва, – таковы были сведения из аннотации к ролику. Главным было не

умение парня играть, не природный слух, не молодая энергия, которую он переливал в инструмент, не он сам (камера показывала лишь инструмент, меха и кнопки, и только иногда в кадре возникал подбородок исполнителя), главным была музыка, которая жила на этой бедной кухне. Музыка звучала в душе этого парня, горела «искрой Божьей», требовала выхода «на люди», говорила в нём помимо его воли. Ваня сразу это почувствовал и ощутил мучительный приступ зависти, который он тотчас же постарался придушить в себе – когда-то он тоже «баловался» гитарой, в молодости был заводилой в рок-группе, но быстро сошел с этого бесперспективного и бедного пути.

Он разволновался, ночью долго перебирал свою жизнь. В ней, если честно, добром вспоминались лишь дни, озаренные вдохновеньем, «Божьей искрой». Это и было счастьем ликующего полёта – безнадёжного и неизбежного. В этом, наверное, и была единственная цель его жизни, от которой он так сильно отклонился.

Бог, похоже, не очень сильно натянул тетиву, когда послал Ваню в мир. Жаль... Жаль...

Что же оставалось ему?! Следующий день выдался, наконец, безметельным, морозным и солнечным. Снега широко лежали на небольшом пустыре у речки, блестя богатством покрова, небеса набирали яркой лазури, на ракитах оживлённо чирикали воробьи – в пышных перьевых шубах, шустрые, шумные, заполошные в перелётах. Ваня шагал, снег

скрипел под его прочной и крепкой обувью, солнце грело нос и щёки, слепило глаза, и тоска его по капле растворялась в сияющем дне, обманно обещающем счастье.

Мир был красив, вечен и бесконечен.

Ещё и не жил

Расскажу я вам историю семьи одного нахального мужика. Зовут его Петька. Ему пятьдесят лет. Развратный, наглый. Мне он, например, говорит: «Вот вы бы за меня пошли?» (Имеется в виду сожительство.) Хотела я ему ответить как надо, но удержалась: всё-таки я – государственное лицо, работаю в собесе, зачем же мне опускаться до его уровня?! «Вы, говорю, гражданин, не отвлекайтесь от вопроса».

А дело было так. Этот Петька на заре туманной юности женился, построил хату, провел газ, родил ребенка, прожил четыре года и ушел. Жене, правда, всё нажитое добро оставил – в обмен на свободу от алиментов. Туда-сюда, пошатался он бесприютный, и женился на другой (пристал в зятья). Обложил её хату кирпичом, провел газ, починил заборы и после некоторого раздумья родил в этой семье дочку Анечку. Но баба новая оказалась злостной алкоголичкой, совершенно невменяемой, её лишили родительских прав, и он её, естественно, бросил. А дочку Анечку навесили на него, и Петька, понятное дело, вскоре снова женился.

Новой супруге он первым делом провел газ, построил сарай, покрыл шифером веранду, но долго на этом месте не задержался – ушел. Поскольку приглядел себе уже новую супружницу, и опять же с этой Анечкой пристал к ней. И здесь он провел газ (Петька работает сварщиком, профессия очень

выгодная для одиноких женщин, у которых печное отопление), кое-чего помог по хозяйству, и всё-таки не удержался, сбежал.

После этих двух промежуточных баб пристроился он в зятя к Светлане Петровне, наивной и простоватой женщине, которая нынче мне все нервы вымотала. Она плачет, а я ей говорю: «Что вы творите?! Вы видите, я при вас валерьянку себе капаю, двойную дозу?!»

А суть в том, что распутный Петька дом своей новой жене достроил, газ, опять же, провел, машину – старую «копейку» – купил, и Светлана Петровна родила ему сына Колечку. Младенцу сейчас год и семь месяцев. И в разгар этой семейной идиллии Петька возьми и уйди! Потому что суть его – кобелиная, режь, стреляй, но он ни с одной бабой не может жить дольше четырех лет. Четыре года – предел, максимум.

А дочка его, Анечка, она к Светлане Петровне уже прикипела и кричит: «Никуда больше не пойду!» Дитё ж оно тоже умарывается бегать по семьям, «мам» менять! Ну, Светлана Петровна и говорит: «Пусть Анечка у меня живет». А у самой – дочь от первого брака, Анжела, младенец Колечка, и эта к ней жметя, которая ей, считай, никто. А жить им всем на что?! Сама Светлана Петровна торгует на рынке беляшами (от хозяина).

Всё бы ничего, но я вижу, что хочет она этого беспутного Петьку детьми шантажировать. Надеется, что в нём совесть проснётся. А я ей говорю: «Дорогая Светлана Петров-

на! Ничего у вас не получится, он абсолютно бесстыжий человек, живёт только кобелиными удовольствиями, а о детях ему хоть трава не расти. Зачем вы Колечку рожали?! Вы что, думали, что вы лучше четырех предыдущих жен будете?» А она: «У нас пятнадцать лет разница. Петя на коленях передо мной стоял, умолял: роди мне сына, наследника, я тебе и машину куплю, и газ проведу».

Ну правильно, мужик – не промах: зачем ему на ровне жениться, он выбрал бабу помоложе, а одногодка ему, понятное дело, уже никого и не родит. «Светлана Петровна, – пытаюсь я вразумить жертву брачного аферизма, – давайте рассуждать логически. Супруг ваш все свои обещания выполнил: газ провел, дом достроил, машину купил (потом меня Светлана Петровна до рынка на ней и подвезла). Он что, клялся вам в вечной любви до гроба и в лебединой верности?!» Она глазами хлопает и говорит: «Такого не было...» – «Ну и чего ему кручиниться?!»

Ладно. Спрашиваю я у этого бесстыжего Петьки: «Почему вы ушли из семьи?» Он и запел: «Я хочу свободы, я, как человек, ещё и не жил, а мне 50 лет уже...» А сам снял дом, чтобы встречаться с молодухой. Анечке с Колечкой на 1 сентября ничего не дал, а новой подружке – шампанское, конфеты... Денежки-то водятся, он мужик рабочий.

А про новую «возлюбленную» как выяснилось? Анечка в жизни настрадалась и потому за отцом стала приглядывать, шпионить. И когда он с бригадой тянул газ по улице Матери

и Ребенка (есть у нас такая – нарочно не придумаешь!), девочка и предупредила мачеху, что, мол, папка как-то не так к одной тётё «тулится». А вскоре он съехал, сказал, что жить в таком ужасе («без любви») не может, и снял себе дом.

И вот Светлана Петровна взяла Анжелу с Анечкой и пошла в эту хату. Дом закрыт, они залезли в форточку, сели тихо, поджидают хозяина. А тут и молодуха объявилась, открывает дверь своим ключом. А в руке у неё – пакетик с цветным кружевным бельем «Дикая орхидея».

Ну Светлана Петровна круто с ней поговорила и прогнала эту пассию вон, а кружевное белье в гневе изорвала в клочья. Она-то – жена законная (Петька теперь говорит: дурак я, расписался с ней!). Сидят они дальше. Тут и сам кобель заявляется. Как она его не устыжала, он ноль эмоций: «Я сказал, не вернусь к тебе, и всё тут!»

Что делать? Я Светлане Петровне внушаю: ну вы подумайте, зачем вы Анечку на себя вешаете?! Она вам ещё даст оторваться, наследственность-то какая: мать – алкоголичка, отец – с кобелиными наклонностями. Анечка войдет в возраст, вы с ней сдурете. У вас своих двое, их поднимать надо. А за Анечку вам даже платить не будут – она вам никто. «А вдруг Петя одумается, вернётся?! Тут у него и сын, и дочь...»

Я говорю: «Светлана Петровна, дорогая! Ну он же бродячий пёс, у него все домашние инстинкты убиты! Не вводите себя в иллюзии. Единственное, на что он годен – это газ проводить, его бы куда-нибудь в Нечерноземье направить,

в отдаленные районы. Может, там дело, наконец, с мертвой точке сдвинется, всё какая-то польза людям!»

В общем, выпили мы пузырек валерьянки на двоих и разошлись каждый при своем мнении. А Петька что ж, за него и переживать не надо – не пропадёт. Он как переходящее красное знамя – его из рук в руки рвут! Это у меня дома «валух», у телевизора день и ночь лежит...

В дождь

– Погода отвратительная, – говорила старшая сестра. Она была настроена решительно, но растворимый кофе в фаянсовой чашке размешивала бережно, аккуратно, боясь расплескать напиток.

Оля любила эту чашку – голубые колокольчики на толсто-стенных боках, ручка – крендельком, и радовалась, что сестра выбрала именно её.

Весь день, с утра, без перерывов, на улице шел дождь, упорно, бодро, будто выполнял чьё-то задание и потому не мог остановиться на полпути. Дождь был осенний, серый, тёплый, а день – безветренный, влажно-туманный. Дали были закрыты дождевыми завесами, они шли уступами от неба до земли, и казалось, что весь мир помещён в огромный дождевой дворец, в котором открываются всё новые и новые залы.

В Ялте, наверное, было солнечно и ясно, там аквамариновая волна, нагретая галька и раздольный полёт чаек, в деревенской России бабье лето – с танцующими паутинками, с рыжими косогорами и валками соломы на полях, а здесь, в Москве, дождливый день – с красными, будто обожжёнными, кленовыми листьями на тротуаре, с тёмно-зеленой ивой под окном, с тяжелым веером серых брызг на дороге, с набрякшими зонтами на бульваре – они, как грибы, возникали

то тут, то там. Но прохожих немного – день выходной, а куда ж идти в такой дождь?!

Оля хлопотала на кухне. Она любила сестру, но скрывала нежность напускной беспечностью, боясь растрогать её своей чувствительностью. «Какой чудесный день! – думала она. – Мы вместе. Это такая редкость!.. Мы в тепле, уюте, пьём чай с булками и с повидлом из яблок. (Варенье привезла сестра.) А яблоки собраны у родного дома. Это же совсем другие яблоки, немагазинные. Редкий промежуток, когда наши близкие живы и здоровы и мы говорим не про их болезни и скорби, а про всякие пустяки. Боже! Какое же это счастье – длинный дождливый день!.. Да ведь такого дня я и припомнить не могу, если честно!..»

Но вслух она сказала другое:

– А я люблю такую погоду. Под неё хорошо думается, особенно в деревне, если, конечно, срочная работа сделана до дождя и тебя не тревожит ни сено, ни огород, ни крыша на сарае. Хорошо тогда смотреть в окошко, в палисадник с фиолетовыми астрами, хорошо думать, отвлекаясь от зачитанной старой книги, хорошо вспоминать прошлое, счастливые мгновения (как здорово, что они были, никто их у тебя уже не отнимет!), и надеяться на чудесное... Мысленно она добавила: «Надеяться, даже если жить осталось совсем немного. И встречать каждый день, как великое счастье!»

По выражению лица Оля увидела, что её рассуждения кажутся сестре странными, если не глупыми, и поспешила пе-

ременить тему:

– А где твой кожаный плащ?

– Висит. Иногда я его ношу, но вообще он мне надоел.

И Оля тотчас вспомнила другую осень. Стояла несусветная грязь, с низкого неба шла противная морось. Сестра провожала её на автостанцию. Оля уезжала на междугородном автобусе в Москву. У неё тогда была интересная работа, кипучая жизнь, заграникомандировки, а сестра оставалась в провинции, среди грубого быта, скуки, связанная родственными обязательствами... Оля, глядя из окна автобуса на одинокую фигуру в кожаном плаще, не смогла сдержать слёз – сердце её защемило. И, каждый раз, возвращаясь к этому воспоминанию, она испытывала перед сестрой чувство вины.

После чая, невзирая на дождь, они пошли по магазинам – сестра хотела купить что-то потеплее, чем лёгкая куртка, что была на ней. Они перемерили кучу пальто. Ничего не подходило – одни были малы, другие велики, третьи – короткие, четвертые – не по фигуре, пятые – не того цвета. Обошли три магазина, вымокли, хотя всё время были под зонтами. Обе измучились, устали. Надо было возвращаться домой, собираться на поезд.

И всё равно Оля была счастлива. Её казалось, что звучит симфония дождя, что в величественном дворце природы играет великий пианист – Лист, например; и оттого, что слышит всемирную мелодию, она сопричастна её минору, и так

по-хорошему сентиментально было у неё на душе, так неповторимо!

«Никогда, никогда больше в моей жизни не будет такого дождя!..»

Сестре же она говорила другое:

– Послушай, у Веры (дочери) целый гардероб вещей, которые она не носит. Давай посмотрим, может, что-то подойдёт. Не хочу, чтобы в дождь ты мёрзла.

– Да-да, – соглашалась сестра.

Но ей непременно хотелось купить сегодня что-то новое – раз уж вышли по магазинам в такой дождь. Сестра выбрала шляпу – вишнёвую, классической формы, из отличного фетра и, на удивление, очень дешёвую. Оля из солидарности купила модную кепку и тоже почти даром. Они смотрели в тонированное зеркало, подсвеченное с боков. Покупки их обновили – сёстры походили на удачливых авантюристок.

– Ну вот мы и в Париже! – смеялась Оля, убирая чёлку под козырёк кепки.

Сестра загадочно улыбалась – она заразилась её настроением.

И снова шёл дождь, вода струилась по тротуарам, в потоке кружились лимонные и багряные лодочки облетевших листьев, и терпко пахло дубовой корой, когда они шли через маленький старый парк, и непонятно было, что сейчас – день или вечер? – от долгого дождя затуманилось небо, сумрачные тучи скрыли солнце.

Они купили колечко пахучей белорусской колбасы. И снова сидели на тесной кухне, обсуждали погоду, детей и будущее.

– Зачем столько тряпок? – ахала сестра, перебирая вещи племянницы «на отдачу».

– Страсть это, – отвечала Оля. – Кто-то собирает деньги, кто-то – одежду. Люди пьют, курят, обжорствуют, или, наоборот, служат «культу тела». Страсти маскируют... – она хотела сказать «ужас жизни», но смягчила, – смыслы бытия.

Несколько недель назад, проснувшись рано утром, она долго лежала в постели (был выходной), перебирая дела предстоящего дня. И вдруг почувствовала, как от неё будто «отодвинулось» прежнее. Это было похоже, как если бы на реке начался ледоход. Огорошенная, Оля схватилась, села на постель.словно граница пролегла для неё, и прежние, «уплывающие» желания показались обманными, призрачными. Она ощутила укол грусти – будто в этот миг что-то безвозвратно потеряла, утратила в себе.

А сестра рассуждала:

– Я Арише (дочери) говорю: тебе тётя Оля отдает свою кухню. Ну возьми ты эти шкафчики! На первый случай! Какая разница, что там у тебя в новостройке будет висеть?! Выкинешь потом или таджикам отдашь. Нормальная кухня, – сестра показывала на шкафчики рукой.

– Да, – соглашалась Оля.

– А она мне говорит: «Я сама знаю, как мне поступать и

что брать!» Вот ты можешь представить, чтобы мне мать что-то говорила, а я не сделала?!

«Интересно, – думала Оля, – нравится ли маме такая погода? Видит ли она нас сейчас оттуда, из другого мира? Как мы чай-кофе пьём?»

Сестра наставляла:

– Ты меня не провожай, опять под дождь, промокнешь, время потеряешь.

– Ничего не потеряю, – смеялась Оля. – Может, мне за эти два часа – до вокзала и обратно – потом там побольше начислят, – она кивнула на потолок.

И на вокзале шел дождь, встрёпанные, как воробьи, пассажиры прятались под навес над перроном. По-деревенски пахло угольным дымом – он вился над мокрой спиной длинного состава; нарядные и торжественные проводники в синих плащ-накидках проверяли билеты.

Они прошли внутрь вагона, в темноте нашли 15-е место, сели. Сестра уже мысленно была в пути и как бы «отъединилась» от Оли. Новая вишнёвая шляпа грустно лежала на столе.

– Возьми себе, – сказала сестра. – Куда я её буду носить в деревне? В куриный сарай, что ли?!

– Нет, – отказалась Оля. – Будешь смотреть на неё, вспоминать Москву.

Домой она возвращалась в холодных сумерках. Дождь

прошел. Золотыми свечами отражались на влажных тротуарах фонари. Медленно, как единый организм, двигался плотный поток машин по шоссе, весь прошитый тревожно-кровавым пунктиром стоп-сигналов. И, скрытое от всех, мерно стучало её тревожное сердце, запечатлевшее дождливый день той счастливой осени.

«Камасутра» по-русски

Нигде так не обостряется любовь к жизни, как в больницах, тюрьмах и домах престарелых.

Палата в отделении травматологии. Вечер.

– Юли опять нету, – кивает на пустую кровать Варвара Ивановна. – Ох, и безбашенная девка! Опять с женихами забурилась!

Юля – крашенная блондинка лет двадцати с невинными голубыми глазками (сиделка Эльвира называет их взгляд, направленный на мужчин, исключительно нецензурно). Будучи сильно выпивши, но строго руководствуясь правилами дорожного движения, Юля шагала по «зебре», и тут сбил её водитель-нарушитель. Результат – перелом руки. Водитель, естественно, стал канючить и ныть: мол, не губи, у меня дети, семья, «век за тебя молиться буду», и Юля, в конце концов, растрогалась и сказала: «Я вас прощаю». А сама она попала в отделение травматологии и сразу же стала нарушать режим, гулять по улице. И с первого же похода привела себе кавалера – студента-корейца. После прогулок они обычно поднимаются в палату, и он ей помогает снимать джинсы.

Эльвира усмехается:

– А помните, её мамаша-интеллигентка прибежала к врачу и жалуется: с кем вы поместили мою дочь? Здесь на неё могут дурно повлиять!

– Ха-ха-ха, – заливается Варвара Ивановна, так что даже густые каштановые кудряшки её «химии» подрагивают. – Да она сама на кого угодно повлияет!

Ефросинья Семёновна, полная рыхлая женщина, добродушно вздыхает – что взять с молодежи!

– О-о... А-а... Э-э-эх!.. – вдруг раздаётся дико-жалкий крик с «транзитной» кровати. На это элитное место – у окна – кладут тяжелых больных.

– Начинается, – грустно констатирует Варвара Ивановна.

– Опять не поспим, – вздыхает Ефросинья Семёновна.

Варваре Ивановне – под восемьдесят, но мало кто называет её старушкой – такой она живчик, полный энергии и движения. И вот теперь левая нога её, похожая на сухую слегу, торчит на вытяжке, конструкции которой напоминают средневековые пыточные устройства. Нога же тучной Ефросиньи Семёновны, тоже проткнутая «спицей» и оттянутая чугунной «грушей», скорее похожа на белое ошкуренное бревно. Ноги «смотрят» друг на друга – в палате женщины лежат напротив.

– О-о... – вновь раздаётся слабый стон с кровати у окна.

– Как это всё надоело! – Эльвира всплескивает короткими, аккуратными ручонками и нехотя поднимается из своего угла – там, где на больничной каталке устроена её постель. – Баб Кать, чего буяним? Вроде сухая... – размышляет сиделка, отбрасывая одеяло и осматривая простынь. – Баб Кать, в туалет хотите?

В ответ слышится невнятный, прерывистый мык.

– Как хочешь, баб Катя, потом тебе же хуже будет, – угрожает Эльвира, потрясая перед лицом больной пустой 700-граммовой стеклянной банкой. – Буду тебя потом тревожить, переворачивать...

Баба Катя затихает. То есть это не баба Катя – когда-то веселое дитя, после – цветущая девушка, привлекательная женщина и добрая бабушка, нет, это уже нечто другое, совершенно уничтоженное временем и теперь больше похожее на старую, серо-белесую корягу, выброшенную прибоем на берег.

Эльвира возвращается в свой угол.

– А-о-у-у-у! – душераздирающий крик с постели бабы Кати.

– Свят, свят! – крестится Ефросинья Семёновна.

– Не дай бог до такого дожить, – суеверно замечает Варвара Ивановна. – Хорошо бы как-нибудь тихо помереть!

Эльвира далека от подобных экзистенций.

– Не, ну вы посмотрите, что она творит! – возмущается сиделка. – Днём спит, как голубь мира, а ночью начинаются концерты! Баба Катя! – возвышает она голос. – Помолчите хоть пять минут!

Стоны стихают.

– Каждый день одно и то же, – приглушая голос, упаднически продолжает Эльвира. – Вопли, судна, боль и малярия!.. Брошу я всё, надоело мне!..

Ефросинья Семёновна доброжелательно молчит. Её дочери наняли Эльвиру через фирму «Покой и уют» за немалые деньги. Уже на месте Эльвира развила «частное предпринимательство», взимая с остальных неходячих в палате посильную мзду, поскольку на весь этаж в отделении была только одна нянечка. У одинокой пенсионерки Варвары Ивановны, лежащей с ногой уже полтора месяца, деньги давно кончились, так что ей сиделка подает банку и судно, можно сказать, за «спасибо». Зато с родственников бабы Кати Эльвира дерёт по максимуму: не хотите бабуся дома докармливать – платите за удовольствие.

– Как же мы без тебя, Эльвирочка? – заискивает Варвара Ивановна. – Пропадём!

– Да это я тут с вами пропадаю! – негодует Эльвира. – Месяц с лишним сижу безвылазно. Ничего, кроме ваших задниц, и не вижу! В другом месте я, может, давно бы замуж вышла! У нас в больнице (до карьеры сиделки Эльвира работала медсестрой в Йошкар-Оле) моя подруга Жанна отличного мужика увела прямо с одра. В чём был. Его привезли на «скорой» с аппендицитом. Жанна ему даже домой не дала зайти. А что, паспорт у него с собой, водительские права – тоже. Жанна бывшей супруге очень даже благодарна. За небрежение – такого мужика упустить! Он жене сказал: не ходи ко мне, заживет как на собаке, операция пустяковая. Та: ну и ладно. А Жанна – тут как тут, не растерялась. И чтоб поползновений не было, вывезла его в Нижний Новго-

род. Всё хорошо, уже и квартира у них...

– Тебе, Эльвир, надо было в мужскую палату устраиваться, – не может удержаться от подколки Варвара Ивановна. – Там заодно и обглядела бы все органы, в семейной жизни необходимые.

– Это вы, Варвара Ивановна, спец по органам, – хихикает Эльвира, – вас надо на консультацию брать.

– Я по женским органам специалист, а в мужских я ничего не понимаю, – уточняет Варвара Ивановна. – И я вам, девочки, скажу следующее: 35 лет отработала гинекологом, а вот о том, что такое «Камасутра», до сих пор не имею понятия. Хоть бы узнать на старости годов!

Ефросинья Семёновна улыбается, покачивая головой: ну и артистка же Варвара Ивановна! Если бы не её хохмы, вообще можно было бы с ума сойти!

– Камасутра – это искусство любви, – назидает Эльвира. – Вы многое потеряли в жизни!

Тут и Юля возникает на пороге, благоухая парфюмом и табачным дымом. На этот раз одна, без кавалера.

Варвара Ивановна, как бывший врач, считает должным вести антитабачную пропаганду:

– Юля, от курения сосуды сужаются, кожа портится.

– А я не в затяжку! И, между прочим, на улице только. Вы бы это лучше мужикам сказали. Смолят по-чёрному. Идёшь по коридору, из-под дверей дым стелется, как на рок-концертах.

– И медсестра на это сквозь пальцы смотрит, – подхватывает Эльвира. – У нас в Йошкар-Оле такого бардака в больницах нету!.. Слушай, Юль, ты можешь своей подруге сказать, чтобы принесла нам на один день «Камасутру»? Варвара Ивановне нужно. Мы отдадим потом.

– Зачем вам? – фыркает Юля. Голубые, наивные глаза её становятся большими-большими от изумления. – Как вы этой книгой будете пользоваться, там же ноги в основном задействованы? – И Юля хохочет, глядя на беспомощные тела с «грушами».

– Тебе что, трудно попросить? – почти до слёз обижается Варвара Ивановна.

– Ладно! – вмиг смягчается Юля и достаёт из кармана мобильник. – Алёна, привет. Ты ко мне завтра собиралась? Слушай, захвати «Камасутру». Что? Какое дивиди? «Камасутру», говорю, книгу. Не задавай глупых вопросов. Да, половое просвещение. Не забудь! И влажные салфетки. Пока!

– С вами не соскучишься. – Юля уважительно качает головой и надевает наушники от плеера. Вовремя: потому что раздаётся душераздирающий крик бабы Кати.

На следующий день, после обеда, настроение у всех подавленное. Во-первых, не выспались – баба Катя стонала всю ночь. Во-вторых, хотя с утра бабу Катю невестка с сыном всё-таки забрали домой, через час на транзитную кровать уже положили бабу Галю – старушку хотя и относительно тихую,

но не менее тяжелую – с рукой на «вертолёт» и с пролежня-ми. В-третьих, и это самое главное – врач Юрий Иванович толком их так и не посмотрел.

Варвара Ивановна скорбно вспоминает:

– Заскочил, глянул, мы завтракаем, и говорит: ну, я к вам через пять минут приду...

– ...И зашел через пять часов! – негодует Эльвира.

– И то потому, что ординатор Володя его почти силой за-тащил... Просили слёзно! – чуть не всхлипывает впечатли-тельная Ефросинья Семёновна.

– Ворвался, и сразу ко мне, – продолжает Варвара Ива-новна. – Схватил одеяло, а у меня там, между прочим, банка была подставлена, и говорит: «Тут всё то же самое!»

Ефросинья Семёновна, превозмогая боль, начинает сме-яться, за ней – все остальные...

– «Всем показана иммобилизация», – сквозь смех повто-ряет слова врача Эльвира. – Только мы его и видели!

– Мол, пей мумиё и лежи, – вздыхает Ефросинья Семё-новна. – О-хо-хо... Хоть бы сёстры милосердия зашли, бо-жественное что рассказали, всё какие-то люди свежие.

Варвара Ивановна грустит:

– А я, девочки, так надеялась, что он мне спицу вынет. Уже и трусы новые под это дело приготовила...

– И «Камасутру» прочитала! – хохочет Эльвира.

– Манекены, а не люди, мне не понравилось, – критику-ет книгу Варвара Ивановна. – И что в ней находят?! Между

прочим, он зашел, а книжка на тумбочке лежит. Может, это его отпугнуло? Увидал такую литературу и подумал: они тут совсем чокнулись, им на кладбище пора, а они за «Камасутру» взялись!

– Да нет, его травмировало судно у тебя в головах! Я утром, когда палату мыла, убрала с пола, чтобы не мешалось, и поставила его вам за голову, а снять забыла...

– ...Он заходит, а тут такое!..

Женщины снова хохочут, настроение заметно улучшается.

После долгой-долгой паузы Эльвира задумчиво говорит:

– А не выйти ли мне за него замуж?

– За кого? – не сразу понимает Варвара Ивановна.

– Да за врача нашего, Юрия Ивановича. А что, человек он, я вижу, одинокий, женским вниманием не избалован. И что у него за жизнь?! С восьми утра до шести вечера в отделении. Что он видит? Судна вонючие, ноги переломанные, снимки, кости и операции без конца. И я чувствую, что ему всё это надоело и он готов к переменам. Надо только найти к нему подход, чтобы потом он уже не вырвался...

– Подожди, Эльвир, – живо откликается Варвара Ивановна, – он же вроде моложе тебя?

– Ну и что! Это ничего не значит! Тем более, дети у меня самостоятельные – дочь в гражданском браке живёт, сын в колледже. Я для своих лет – выгодная невеста. И зарабатываю нормально. Да, старше чуть-чуть. Но и он не красавец:

на лицо смурной, ногу тянет, прихрамывает...

– Зато он сильный, – вступается за врача Ефросинья Семёновна. – Назначил мне рентген, а санитаров не было. Схватил мою кровать и поволочил к лифту в одиночку.

– К «Заячей губе»? (Рентген делает женщина садистских наклонностей с дефектом внешности.)

– Ну да.

– Какие-то они здесь все калечные, – размышляет Варвара Ивановна. – Медсестра на посту с ортопедическим воротником на шее, врач наш – хромой, «Заячья губа» опять же, процедурные сестры пьяные в стельку...

– Ага, – говорит Ефросинья Семёновна. – Ко мне, видала, вчера подошла эта Света, еле на ногах стоит: «Я вам укол сделаю!» Я говорю: нет, не надо! А то ещё вколет что-нибудь и проснёшься на том свете, с ангелами.

– Уход за больными отвратительный, средний медперсонал никуда не годен, – резюмирует Эльвира. – А врачи хорошие, опытные.

– Эльвира! – Варвара Ивановна хлопает себя ладонью по здоровой ноге. – Мне пришла в голову гениальная идея! Ты, как человек с огромным опытом, должна написать практическое руководство по уходу за тяжелыми больными в травматологическом отделении...

– Про то, как судно в голову поставила...

– Нет, ну почему! Надо описать всё, вплоть до мелочей. Как, допустим, больному с переломом шейки бедра в усло-

виях стационара или на дому делать туалет, менять одежду, подавать судно, и всё это с картинками...

– Вот вам «Камасутра» по-русски...

– С позами...

– Поза номер один: нога на вытяжке...

– Садомазохизм...

– «Заячья губа» с плёткой из бинтов...

– Ха-ха-ха!..

В разгар эйфорического веселья на пороге появляется Юля. И с ходу оповещает:

– А меня завтра выписывают!

– Как? – в один голос вскрикивают Эльвира, Варвара Ивановна и Ефросинья Семёновна.

– Поймала нашего врача в коридоре, прижала к стене, и он сказал, что если жалоб нет, то иммобилизация с моим переломом может проходить на дому...

И тут, минуя промежуточные стадии от веселья к грусти, Варвара Ивановна начинает рыдать в голос:

– А мы отсюда и не выйдем уже, наверное... Помрём на казённых койках... Я лежала тут 15 лет назад с другой ногой, теперь опять... За что мне такое?!

Тотчас к причитаниям подсоединяется Ефросинья Семёновна. Она всхлипывает, крупные слёзы бегут по её чистому, белому лицу:

– И бедные мы, и горемычные, и несчастные... Ноженька моя многострадальная... Господь Вседержитель, не оставь

нас...

Что-то похожее на всхлипы несётся и с кровати бабы Гали.

Эльвира выходит из себя и начинает орать:

– Брошу всех, уеду в Йошкар-Олу! – Из глаз у неё летят злые слезы. – Ефросинья Семёновна, вы совсем сдурели, похоронить меня хотите тут?! Зачем вы воете, у вас сахарный диабет, сейчас сахар скакнет, опять операцию отложат! Да мне что, жизнь свою на вас положить?! Замолчите все, или я вас задушу собственными руками!

– Дурдом! – тихонько вздыхает Юля и выскальзывает в коридор.

Наутро в палате затишье. Эльвира после завтрака заявила, что ей нужно выйти в город на два часа по делам и что за это короткое время ничего с больными, включая даже бабу Галю, не случится – в туалет можно и потерпеть. Юля ждёт выписки из истории болезни и против обыкновения сидит в палате.

Без Эльвиры скучно. Варвара Ивановна наставительствует:

– Юля, когда ты будешь уходить, не надо говорить: «До свидания» или «До встречи». Это плохая примета. А надо так прощаться: «Выздоровливайте!» Или: «Надеюсь, мы здесь больше не увидимся!»

Юля хмыкает:

– Да, я тоже очень и очень надеюсь. Хотя по жизни все

дороги ведут в Склиф.

Варвара Ивановна философствует:

– На самом деле, все дороги ведут на тот свет, Юлечка. Как хорошо, что вы молоды и пока этого не понимаете.

– Вот я говорю: надо брать от жизни всё. Не дай себе засохнуть. А то будешь потом подыхать, и вспомнить нечего.

– Кому что на роду написано, – смиренно произносит Ефросинья Семёновна. – На всё воля Божья.

Тут дверь открывается, но вместо долгожданной медсестры с выпиской появляется модно одетая женщина средних лет, с укладкой, свежим макияжем, ухоженными руками. Дама деловито проходит на середину палаты и начинает расстегивать кожаный плащ.

– Женщина, – жалостливым голосом просит её Ефросинья Семёновна, – вы не могли бы из коридора нянечку нам позвать.

Модная дама вскидывает в знакомом жесте коротенькие ручки:

– Вы что, совсем рехнулись?! Не узнаете?!

– Эльвира, ты? – радостно вскрикивает Варвара Ивановна. – А я уж думала всё, бросила ты нас, подалась в Йошкар-Олу.

– Как же, – ворчит Эльвира, – вырвешься от вас. – Вот, пошла в салон, привела себя в порядок. А то в этой больнице можно опуститься ниже плинтуса... Ну, девочки, раз вы меня не узнали, значит, эффект есть, – взбадривается Эль-

вира. – Увидите: Юрий Иванович будет мой. Сегодня же начинаю действовать...

Интересное предложение

В электронной почте Ольга обнаружила письмо от некоей Светланы из пресс-службы высших правительственных сфер. В самых почтительных выражениях Муромову просили обязательно связаться по указанному телефону для обсуждения «важного дела».

Ольга взглянула на часы – по чиновным офисам звонить уже поздно. Да и голова у неё, если честно, была забита другой заботой. На следующий день она про письмо и не вспомнила, но Светлана нашла её сама:

– Вадим Григорьевич (начальник) очень просил, чтобы вы нашли возможность встретиться с ним.

– А в чём суть? – недоумевала Ольга.

– Я не знаю деталей, – трепетала Светлана. – Но я вас очень прошу, – в голосе у неё зазвучали такие страдальческие нотки, как будто её сейчас начнут жарить на костре, – назначьте время, какое удобно, Вадим Григорьевич будет ждать.

Ольга, подумав, согласилась: она поняла, что исполнительная Светлана с неё не слезет. Встречу назначили на завтра, на десять утра.

Обедать Муромова пошла в кафе, где часто собирались журналисты из Дома прессы. Размышляя над странным звонком, она вспомнила, что Вера Марципович из «Изве-

стей», давняя её знакомая, долго работала в рекламе и Вадима Григорьевича знала, как облупленного.

Ольге повезло – Вера толклась на раздаче, и, увидев Муромову, стала энергично махать рукой, шуметь, что «заняла место» и пр. Небольшая очередь из мужиков покорно стерпела – Марципович отличалась вздорным характером – резким, неуживчивым, была остра на язык и с особой требовательностью относилась к сильному полу.

Вера считала себя роковой красавицей. Главным достоинством её внешности был нос. Не то чтобы он был велик или уродлив, но эта черта явно доминировала и «вела» Марципович по жизни. Нос был своевольным, всеведущим, и выражал её «второе я».

Первым делом Вера высыпала ворох проблем – незаконченный ремонт, штраф из ГАИ, сволочное отношение шефа, конъюнктивит у котёнка, сезонную депрессию, увлечение хиромантией и затяжку на новой блузке (последнее было продемонстрировано тут же, за столом, – дефект на импортном трикотаже возник в районе талии). Муромова прямо и неуклюже перевела разговор на звонок Светланы («Знаю эту дуру!» – воскликнула Марципович) и приглашение Вадима Григорьевича («На золотой куче сидит и никого не пускает», – уважительно-завистливо прокомментировала Вера).

– В общем, Светлана эта – провинциалка, из Торжка, что ли, или из Осташкова, – я эти города путаю, – пустилась Марципович в объяснения. – Фамилия Вадима Григорьевича –

Толстопалец, хотя я бы ему дала другую – «Рукизагребущие», они его двигают на министра, ведает большими проектами.

– По ведомству Навального, поди, проходит, – усмехнулась Ольга.

– Да-да! Удивительно, как он до этого борова не добрался... У нас был договор о сотрудничестве, я в его структуру таскалась на совещания, лицезрела это сытое физио (посмотри в Интернете, морально подготовься). Светлану он выписал из провинции, она победила в конкурсе по занятию вакансии, и, поскольку не блатная, он над ней глумится по полной программе. Сколько она у меня на плече рыдала – не перечсть!..

– Понятно, – вздохнула Ольга. – А я-то ему зачем?

– Даже не могу представить! – вскричала Вера. – Это настолько ограниченное существо, что все мысли у него вертятся вокруг денег. Интригуете, Ольга! – Она погрозила пальцем. – Что с вас взять? Какую пользу?

Муромова обещала сразу после визита «дать отчёт». Даже если отбросить экспрессивность Веры, картина вырисовывалась странная...

Надо отдать должное Марципович – типажи она нарисовала карикатурные, но точные. Достаточно было взглянуть на Светлану, чтобы наполовину её «прочсть», а уж после пяти минут общения Ольга знала и содержание второй «ча-

сти».

Эта была милая и доверчивая женщина со страдальческой печатью на «офисном» лице. «Ничего лишнего не говорите, – шептала она Ольге, пока они поднимались в лифте, – везде камеры, прослушки».

В приёмной у Толстопальцева за большим офисным столом сидели аж две красавицы-фотомодели – с великолепными улыбками, стильно одетые, ухоженные, с десятисантиметровым маникюром.

– Референты Вадима Григорьевича, – фальшиво любезничая, представила девушек Светлана (Ольга сразу и прочно забыла их имена).

– Вам чай, кофе? – грудным голосом осведомилась одна из брюнеток. В интонации у неё было прямо-таки что-то материнское!

– Чай чёрный без сахара, – заказала Ольга, аккуратно оглядываясь: ни дать ни взять – золочёная клетка! Новенький, с иголочки, ремонт, абстрактная живопись по стенам, подсвеченный аквариум с тропическими рыбками, дверь из натурального дерева, ведущая в кабинет... А вот и мелодичный звонок внутренней связи.

– Идёмте, – с обреченностью и тоской сказала Светлана, вставая с мягкого кресла.

Встреча получилась в высшей степени странная.

Ольга сидела напротив Толстопальцева, не спеша тянула

благородный чай из императорского фарфора, внимательно слушала сбивчивую речь чиновника и пыталась вникнуть в суть происходящего.

– Я, знаете ли, хочу сделать вам хорошее предложение...

«То есть бесплатно заставить работать».

– Я возвращался из служебной командировки, на борту «Аэрофлота» есть пресса, и, главное, есть время читать...

«Ну да, в основном-то вы только считаете, когда вам читать!»

– И там была ваша статья в журнале очень жесткая, справедливая, о коррупции, «Нары, Канары и Закон Божий»...

«Сам-то ты не с Канар возвращался?»

Ольга коротко и внимательно взглянула на него, и потому, как заметался взгляд глубоко посаженных бесцветных глазок, как порозовело сытое, массивное лицо Толстопальцева, поняла, что попала в точку.

– И это, конечно, ужасный порок – коррупция, «откаты», как вы пишете. Политтехнология, навязанная Западом. Сначала чиновников нравственно разлагают, а потом народ начинает протестовать, выходить на площадь...

«Ага! Значит, такой кусок заглотив, аж самому страшно стало!»

В лице Толстопальцева обозначилось нечто мученическое. Боковым зрением Ольга отметила изумление Светланы – похоже, в таком состоянии та видела шефа впервые!

– Вы очень верно и точно говорите, – мягко и сердечно

поощрила Муромова чиновника.

Толстопальцев совсем расклеился – голос его дрогнул, левый глаз увлажнился.

«Да... И у воров бывают минуты покаяния! Надо же, ну я прям как батюшка, как отец Феодосий! Народ на исповедь пошел!» Ольга отвела взгляд, «не заметила» минутной слабости Толстопальцева, и он приободрился, взял себя в руки:

– И вот я хотел... Мы в департаменте ведем такую работу... Она, наверное, вам будет интересна...

Далее последовало путаное изложение «фантазии», суть которой, если перевести её из метафизической области в практическую, состояла в следующем. Страшные нары, образ которых нарисовала в статье Ольга, так потряс Толстопальцева, что он решил: единственное средство спасения для него – бескорыстно написанная заметка честного журналиста. И эта статья должна убедить, в первую очередь, самого Вадима Григорьевича в его добропорядочности и неподкупности. Ему, Толстопальцеву, не нужен пиар, ему нужна глубинная правда – в душе он знает, что он – хороший и замечательный человек и что деньги – ничто по сравнению со спокойной совестью. Любовь продажных писак ему надоела, он хочет искренней и бескорыстной симпатии от благородных сердец, он мечтает о «возвращении к истокам» настоящих чувств и эмоций. Он верит, что Муромова оценит его душевный порыв и не откажет страждущему и ищущему...

С первых же слов «фантазии» Ольга вполне уяснила её

суть, но не перебивала Толстопальцева и слушала его, не выказывая эмоций. «Достоевщина... ишь, как завело его!» Она мельком взглянула на Светлану: на лице пресс-секретарши читался суеверный ужас.

Наконец Толстопальцев остановился. Кажется, он был растерян: не сболтнул ли лишнего?!

Но Ольга прекратила его метания: она была улыбочлива, деловита и доброжелательна. Несколько слов о социологии, геополитике, современных медиа, и, конечно, спасибо за встречу и лестное предложение. «Детали мы обсудим со Светланой Викторовной. Я и так у вас отняла тьму времени! Благодарю, полезное общение, было приятно познакомиться с думающим человеком!»

Она протянула Толстопальцеву руку и поощряюще улыбочнулась. Чиновник проводил их в предбанник с брюнетками. Прощались ещё и там: радостно и деловито, как старые знакомые, почти родственники.

– Дайте мне подумать! – лучезарно улыбочнулась Ольга.

Толстопальцев вроде успокоился, утишился. Выговорив «фантазию», он был мил и кроток.

– Сюда, – шепнула Светлана и потащила Ольгу к запасному выходу, на лестницу.

В молчании они спустились на два этажа вниз. Светлана подвела её к подоконнику:

– Здесь можно всё обсудить, камер нет...

Муромова вперилась в неё подозрительным взглядом:

– Что это было, скажите на милость?!

– Не знаю! – Светлана всплеснула руками. – Чего ему в голову взбрело?! Может, приснилось что страшное?! Он, как прочитал вашу статью, неделю ходит шелковым, практически перестал орать. Даже на меня! Я уж думаю – пропади они пропадом эти деньги – вернусь домой! Лучше подъезды убирать, чем так мучиться. – Она вдруг заплакала – тоненько, жалко, размазывая слёзы по напудренным щекам.

Ольга вытащила из сумки бумажный платок.

– Спасибо. – Светлана хлюпала носом. – Ведь жить не дают, кровососы! Как люди в деревнях маются, в городках, без работы! А они тут... – Она махнула рукой. – Вы ведь не согласитесь, да? – Ольга кивнула. – Я так и знала, так и знала! Думаю, нет, она никогда не согласится! – ликовала Светлана. – Видишь, какая идея: они решили, что если о них напишут хорошо (меня-то он купил, вот и куражится как хочет!), то и сами станут чистыми! А я прочитала вас и поняла: она не согласится! Она не согласится! – твердила Светлана с восторгом. Во взгляде её читалось торжество.

В метро народу было немного. В вагоне разволнованная Ольга как-то по-новому всмотрелась в окружающие лица. Ехали в основном работяги возраста Толстопальцева. Жизнь, быт и мысли проступали в тяжелых чертах «людей подземелья»: кто пьёт, кто переедает, у кого желчный харак-

тер, а вот этому мужику, наоборот, не хватает воли и злости!

Да, это были не ангелы, а обычные трудяги, чья жизнь протекала не в светлом офисе с золотыми рыбками, а, судя по задубелой коже и разлапистым рукам, на грязном и тяжёлом производстве. Но в эти минуты работяги, по сравнению с холёным чиновником, казались Ольге красавцами! Она с такой радостью, приязнью и добросердечием всматривалась в их лица, что мужики смутились и стали переглядываться.

Погруженная в свои мысли, она не замечала их аккуратного шушуканья. Думала о другом: «Почему Толстопальцев обратился ко мне? Неужели я могу предать, дрогнуть? Пусть не из-за денег, а из доверчивости, „доброты душевной“? Или из тщеславия, минутной слабости, глупости?»

Раздумья тенью легли на её лицо – она даже нахмурилась. А монтажник Василий говорил тем временем товарищу-кабельщику: «Видишь, Петя, как хорошо, что ты нынче побрился! Дамочка на тебя и запала!...»

Белый цвет

Василиса проснулась, открыла глаза и ахнула: сквозь лёгкий тюль окошка видно, как кружатся редкие круглые снежинки. «Заморозки! – пронзил её ужас. – В начале мая!»

В один миг она приникла к стеклу. И рассмеялась: это был не снег, а белый цвет – с яблонь, груш, вишен. Лепестки усыпали землю в палисаднике и всё летели, кружась, бело-розовые.

«Какая же я счастливая! Неужели ничего когда-то не будет: меня, вишнёвого цвета, моей любви?!»

Она сидела на остановке среди старух, потом ехала с ними автобусе. Василиса выбралась на рынок купить продуктов и нахватала вроде всего понемногу, но сумки получились неподъёмными.

Старухи вышли из церкви. Нарядные, оживлённые, в белых платочках, в новых юбках и кофтах, они были освещены радостью праздника, но говорили негромко, деликатно. Они будто только что узнали тайну жизни, и теперь, ликуя и скромничая, несли её.

Василиса вглядывалась в их лица, слушала простые разговоры. И думала: «Неужели у каждой из них – душа 17-летней девушки?!»

А накануне все кричали «Христос Воскресе!», были добрыми, предупредительными. Мужики – в новых, редко надеваемых, костюмах, и оттого, что эта одежда им непривычна, что она их сковывала, мужики вели себя по-другому, не так, как всегда, сдержанно курили у ворот кладбища и говорили негромко.

Жены их были с высокими причёсками, сильно накрашенные, в вечерних платьях, на шпильках, как будто нарядились в театр или на свадьбу; малые дети, тихие, с испуганными личиками, цеплялись за материнские юбки, страшась большого стечения торжественного народа. Могилы стояли весёлые, нарядные, как цветочные клумбы; аккуратные холмики были любовно присыпаны оранжевым песком, украшены пышными искусственными венками, букетами из пластиковых роз, ромашек, сиреней.

Между могил шныряли с пакетами ловкие мальчишки, собирали «поминание» – крашеные яйца, конфеты, пирожки, хвастаясь друг перед другом добычей. На входе певчие затянули раздольное, на голоса, прославление Воскресению Христову. В углу кладбища толпа чёрных, некрасивых цыган – грузные мужики в атласных рубахах, бабы с золотыми зубами – сгрудились вокруг стола со снедью. Они, гомоня, пили и закусывали.

– ...А бабушка, тебе она, получается, прабабушка, лечить умела, к ней люди ходили. – Василиса с племянником Игорьком стояла у пары простых могил с чёрными фигурными ме-

таллическими крестами. – Лечила молитвой, заговором. От испуга, от болезней нервных. Один раз я слышала – за занавеской сидела, как пришел мужчина и так просил, так умолял её, чтобы она приворожила девушку! «Я всё отдам, что у меня есть, лишь бы она была моя». Бабушка отказалась: «Це не Божье дело. Люди должны по согласию сходитья. Я тебя могу полечить от тоски, чтобы ты о ней больше не думал». Не знаю, чем дело кончилось, но такой разговор я слышала. А дед Иван, твой прадед, суровый был! Не любил болтовни. Он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Есть фотография: он с бойцами, а на стене крупно – «Иван».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.